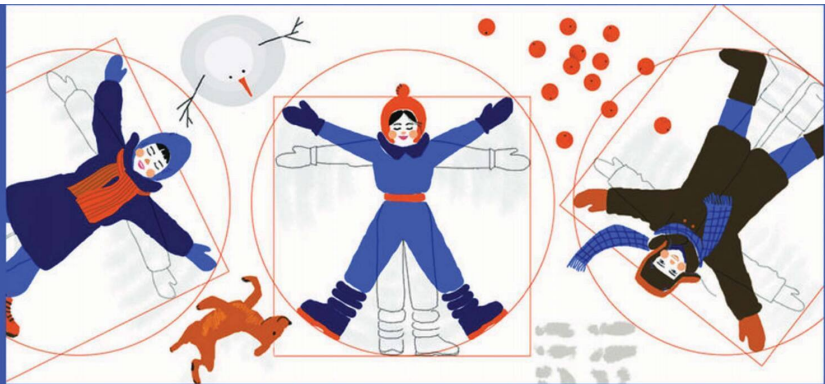




ЮНОСТЬ



9 770132 203600

№11/2020 16+

11

Литературно-художественный журнал **Журнал «Юность» №11/2020**

Серия «Журнал
«Юность» 2020», книга 11

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67774925

*Журнал «Юность» №11/2020: Редакция журнала «Юность»; Москва;
2021*

Аннотация

«Юность» – советский, затем российский литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года.

Содержание

Сергей Шаргунов	7
Скажи, кто такое Есенин?	8
Поэзия	14
Алена Бондарева	14
Космос	15
О космосе	15
Армстронг	17
Вселенные	19
Олег Демидов	22
Подношение Бродскому	23
«В деревне люди не живут...»	23
«Ты, рожденный работать в ватнике стеганом...»	24
«В провинциальном университете...»	25
«Постареешь, обрюзgneшь, нацепишь очки...»	26
Владимир Косогов	27
«Это все набухают на ветках почки!...»	28
«Уже не человека – пленника...»	28
«Выучил чиновничий язык...»	29
«Слава Богу, смертно это тело...»	30
Дмитрий Ларионов	32
«Кенигсберг» и другие облака	33

Другие облака	33
«Играет ножичком на Лыковой...»	34
Лимонов	35
Проза	37
Анастасия Курляндская (Родионова)	37
Убить Ленина	38
Анаит Григорян	58
Невозвратные дни	59
Олег Лекманов	82
Две поездки из Москвы	83
Василий Алексеенко	89
Лимпопо	90
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Журнал «Юность»

№ 11/2020



© С. Красаускас. 1962 г.

На 1-й странице обложки рисунок Александры Дудки
«Зимнее Возрождение»

Обложка создана в рамках воркшопа от сооснователей дизайн-агентства «Труд» @trud_agency Светланы и Всеволода Выводцевых на творческой антишколе дизайна и архитектуры «Таврида»

Сергей Шаргунов



Скажи, кто такое Есенин?

Слово главреда

В 1925 году, ранней осенью, будущий основатель и главред «Юности» Валентин Катаев с Сергеем Есениным и недавно приехавшим в Москву Эдуардом Багрицким оказались напротив еще не снесенного нежно-сиреневого Страстного монастыря, возле памятника Пушкину, еще стоявшего в начале Тверского бульвара, и уселись на бронзовые цепи.

Катаев похвастал умением Багрицкого за пять минут выдать классический сонет на любую тему. Есенин предложил тему «Пушкин». Случилось состязание. Есенин написал такое стихотворение, перепутав фамилию Эдуарда:

*Пил я водку, пил я виски,
Только жаль, без вас, Быстрицкий!
Нам не нужно адов, раев,
Лить бы Валя жил Катаев.
Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.*

Есенину оставалось несколько месяцев...

Литература его, как и пушкинская, неотделима от заданности судьбы и роковой развязки.

Ему сто двадцать пять, Сергею Александровичу, а ушел

он в тридцать, и весь он — непостижимая стихия.

В нем сочеталось слишком много, казалось бы, противоречивого — тихость и буря, ласковость и ярость, грустные проводы Руси уходящей и жажда нови, тяга к братству и обостренное одиночество.

Словно бы вобрал в себя и выразил самые разные черты русского характера.

Можно было бы попытаться разобрать жизнь и творчество поэта по периодам и порассуждать о его развитии.

Первые шаги в литературе парня из рязанского села Константиново, обожествление мира вокруг избы, обретение голоса...

Можно даже предположить, что тезис прозрачной крестьянской лирики, сложенный с антитезисом вычурного имажинизма, дал затем удивительный синтез — сплав простоты и яркости.

А можно увидеть, как хаос самоистребления в последние годы все страшнее клубился в его стихах.

И все же мне видится один человек, страстный, ищущий правду, растворенный в природе.

Есенин — это не только березы и покосы, и не только кабацкая горестная лихость среди осколков разбитой любви, и не только гимн бушующей стихии... Всё это отдельные самостоятельные поэтические миры, которые он вместил в свою грудную клетку. И все неотделимо от огромной земли с названием кратким «Русь».

О Есенине написаны очень разные книги, но, повторяя эпизоды его жизни и обращаясь к одним и тем же произведениям, они находятся в полемике между собой. Авторы расставляют разные акценты. Почему так? Наверное, потому, что Есенин бескраен и бездонен, не вычерпать.

«Я молюсь на алы зори...» – писал он и как будто одухотворял природу своим соучастием в ее таинствах. Один из его современников вспоминал, как Сергей упоенно выстраивал цепочку родственных слов, венчавшихся собственной фамилией: «Осень – ясень – весень – Есенин!» Мне кажется, его стихи – это явления природы. В детстве он поэтично боялся, что лошадь вылакает луну из воды. Но такая заботливая нежность переносилась и на животных, на зверье, которое, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Недаром огромную известность ему принесла пронзительная «Песнь о собаке».

*И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.*

Но Есенин – это и трагедия саморастраты, та боль, что так жутко выразилась в одном из его поздних стихотворений:

*Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.*

*Я с собой не покончу,
Иди к чертям.*

*К вашей своре собачьей
Пора простить.
Дорогая... я плачу...
Прости... Прости...*

И конечно же, расцвет этой боли в великой поэме «Черный человек».

Отдельный разговор о Есенине и Боге. Он сказал о себе сам: «Я ведь Божья дудка...» У Есенина библейские образы, стихи о Христе, но и богоборчество, вернее, жертвенный порыв к Новейшему Завету – стремление обрести новое небо и новую землю, где все будет по-настоящему, без лжи и муки. Отсюда и его поэма «Инония», чаянье, что наконец-то все сотворится по-иному, ощущение единства с разбойниками, блудницами, простыми душами и гонимыми прежде верующими – от старообрядцев до небольших истовых групп... Их привлекал на свою сторону и Пугачев, еще один есенинский герой. Запись сохранилась, найдите в интернете, послушайте монолог из одноименной поэмы, читает автор – грозно и мощно, настоящий мужик:

*Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!*

Есенин ощущал в дерзком переустройстве страны – продолжение истории и даже пробуждение древней вечевой воли.

Небо превращалось в гулкий колокол.

Одновременно о революции и уплывающей любви одна из, по-моему, вершин его поэзии – «Анна Снегина», была и «Страна негодяев», где вместе с упованием на справедливость показана катастрофа святынь и традиций, униженность захваченных смутой.

А еще он поездил по Западу и все показавшееся ему меркантильным, пустым, враждебным жизни осыпал тоскливыми проклятиями в письмах и очерке «Железный Миргород». Торжество денег, расчета и цинизма – этого Есенин опасался и в России и очень ей не желал.

Никакого колониализма, только самобытность, только поэтический полет народа.

Есть что-то символичное в том, что 3 октября – это не только день рождения Сергея Есенина, но и день русского бунта 1993 года в финале нашего двадцатого века, закончившегося кровью убитых в тот вечер и на следующее утро...

Чуть переиначивая его строки, можно сказать:

Дрожали, качались ступени,

Но помню

Под звон головы:

«Скажи,

Кто такое Есенин?»

Я тихо ответил:

«Он – вы!».

Его слова пульсируют в висках, звучат в песнях – от романсов до рэпа. Эти слова живут с нами – молитвенно, чистые и неизъяснимые.

Есенин головокружительно многообразен, но и всякий раз предельно честен.

Его нежность и его натиск – словно смена времен года над русской землей. Золотистые мягкие чары и безудержное половодье.

Осень, весень, Есенин.

Поэзия

Алена Бондарева



Прозаик, литературный критик, главный редактор портала «Rara Avis. Открытая критика». Родилась в поселке Саянск Зиминского района Иркутской области, живет в Москве. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Верлибры публикует впервые.

Космос Триптих

О космосе

Прослушала пять книг о космосе,
дряхлых, но хитрых богах прошлого,
сложносочиненных наркотиках будущего,
терраформировании Марса
и других наивных-наивных мечтах человечества.

Что говорить?

Я и сама когда-то подпевала ракете Маска,
думала о перспективах дисперсного расселения
и дружелюбных пришельцах.

Хотела быть первой женщиной на Луне.

Или на худой конец здесь, на Земле, —

кем-то вроде Зинаиды Гиппиус и Терешковой в одном
лице.

А потом, лежа на крыше старого сарая,
смотрела, как звезды катятся за горизонт.
Но это было давно, в жизни.

Нынче в аду мы начинаем утро со статистики Проценко,
меряем комнату шагами, а температуру – трижды в день,
тщательно промываем нос и полощем горло,
чередую алкоголь и антидепрессанты, игры с ребенком
и сообщения подруге
с просьбой взять сына до конца пандемии,
если вдруг что.

В нашем аду больше не думают о панацее и литературе,
не смотрят на звезды, не хотят в космос.
Мы изменились,
изменились и наши мечты.

Один противочумный костюм,
надежный респиратор с необходимым числом фильтров,
хорошее средство дезинфекции
(не для себя, для мужа – врача) – мой предел.

Пусть о будущем мечтают другие,
подпевая Дэвиду Боуи,
веселясь в забавном приключении карантина,
фотографируя еду и друг друга.

Мне же достанет:
противочумный костюм – одна штука,

хороший респиратор – одна штука,
фильтры и надежное дезинфицирующее средство – в
достаточном объеме,
немного везения и веры Бога в нас.

02.04.2020

Армстронг

Надеваешь скафандр в 9, 17 и час ночи.

Приветственный знак рукой.

Сигнал.

Шлюз открыт.

Выход.

Сколько раз ты мечтал ступить на реголит Луны?

Или увидеть Землю, кинематографически плывущую
в легком мареве темного космоса?

Точно Гагарин, махнуть рукой мне и сыну оттуда,
откуда мы не увидим, но вера откроет нам глаза?

Ты хотел быть первым, вторым – единственным
в недрах бесконечной Вселенной.

Шагнув в вечность, возможно, навстречу Богу.

Маленький для человека,

огромный для всего человечества.

Мечты сбываются, но не до конца.

Пусть черные дыры и спирали галактик
развлекают детей поколения Z,
разумеется, если эволюция не забракует.
У тебя же и земных дел предостаточно.

Стерилизованный тайвек каждое утро подписывают
заново.

Там, за дверью шлюза, должно быть ясно,
кто врач и кто отдает команды.

Очки и респиратор эф-эф-эф-пэ-три
делают людей из твоей бригады похожими друг на друга
и совсем немного на молодого Армстронга.

Но для 14 пациентов
с заболеваниями разной тяжести
(четверо скоро умрут)
это сходство не имеет значения.

Интубационный набор, дефибриллятор,
маска для неинвазивной вентиляции легких,
ИВЛ и главное – умелые руки, – важнее для работы.
Теперь такой же сложной, как и выход в открытый
космос.

«Оказывать реанимационное пособие в СИЗе, –
говоришь ты
после смены, звоня, видимо, из машины, —
все равно что участвовать в заплыве через Ла-Манш
в резиновых сапогах».

9, 17 и час ночи.

Как космонавты, солдаты, шахтеры и прочие.

Для опасных дел государства всегда выбирают простых парней,

которые не задают лишних вопросов,

но по умолчанию готовы стать пушечным мясом.

Или, если повезет, кем-то вроде Армстронга, плывущего в бесконечном космосе.

20.05.–20.06.2020

Вселенные

Ребенок, собака,
психические расстройства,
неизлечимые заболевания, —
больше не имеют значения.

Как не имеют значения восемь лет брака,
новая машина,
свежевыкрашенный балкон
и прочие планы.

Теперь важен только опыт.
Мой считается менее стоящим.
Quod licet jovi, non licet bovi, —
говорили древние и повторяю я.

Победителей не судят,
а героям разрешается все.
Ветер веет и ветер волен.
Кто я такая, чтобы закрывать ставни?

Из меня вышла посредственная Ярославна,
да и Пенелопа так себе.
Весь карантин молила Бога о здоровье,
а надо было о счастье – зная, где падать,
стели основательнее.

Что ж, посажу петунии на балконе,
пусть радуют глаз.
Научу сына языку цветов – никогда не угадаешь,
что в будущем пригодится.
Теперь нам двоим нужно быть особенно сильными
и во многом разбираться.
Дорогой Одиссей, мой нежный Армстронг,

Восемь лет назад было дано достаточно,
но мы мало чем воспользовались правильно.
Что поделать, молодость – пора опытов и ошибок.

А ты как хотела? – спрашиваешь раздраженно.
Отвечаю:
Как Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский,
вдвоем за потерянным чемоданом через всю Европу.
Но вышло иначе.

Твой исследовательский интерес поощрителен.
Космос действительно огромен и полон других
Вселенных.
Жаль только, что наша
стала тебе мала и кажется давно изученной.

25.06.2020

Олег Демидов



Родился в 1989 году. Поэт, критик, литературовед. Окончил филологический факультет МГПИ и магистратуру по

современной литературе МГПУ. Составитель нескольких книг и собраний сочинений Анатолия Мариенгофа и Ивана Грузинова. Победитель V Фестиваля университетской поэзии (2012). Дипломант премии имени Н.В. Гоголя (2019). Автор двух поэтических сборников – «Белендрясы» и «Акафисты», а также книги «Анатолий Мариенгоф: Первый денди Страны Советов».

Подношение Бродскому

«В деревне люди не живут...»

В деревне люди не живут,
а наезжают только летом,
но в красном видится углу
сам Саваоф. Путем поэта,
как будто бы путем зерна,
иду по Норинской. Кругом
сквозь чистый белый снег видна
Россия. Слышен метроном.

О чем ты, северная птица,
поешь в истопленной избе?
Неужто траурные письма
строчишь возлюбленной М. Б.?
Стучит машинка, виски стынет,

и печка щелкает дрова.
Ты допиши своей Марине,
и сядем вместе вечера́ть.

«Ты, рожденный работать в ватнике стеганом...»

Ты, рожденный работать в ватнике стеганом,
прославляющий мир через русскую хтонь,
древнегреческий знал, но почти не использовал —
уходил в перевод, как в балтийскую топь.

На друзей-алконавтов аргю израсходовав,
некрологи писал — хоть в граните отлей,
не чураясь ни будущей фантазмагии,
ни истории, ни мертвецов, ни теней.

Перед Богом нет эллинов, нет иудеев:
эмпиреи не терпят людской суеты,
зато терпят бумага, гусиные перья
и живой гуттаперчевый русский язык —

растворившись в его Ионическом море,
ты похож стал на крупных реликтовых рыб
и уже не по суше гулял — в акваториях —
находивши разломы тектонических плит,

где прячутся греки, евреи, татары,
поделив меж собой временные пласты
и какую-то землю названием «Таврия»
или, если по-русски, Засахаре Кры.

«В провинциальном университете...»

В провинциальном университете,
на кампусе среди студентов и каких-то хиппи, йиппи или
йети

(один Бог знает, что это за дети),
ты созидашь сигаретный дым,

в котором приютился русский норв,
туман у Малой и Большой Невы
и пепел от салонных разговоров,
приятных споров, дружеских подколов,
что, впрочем, тоже навевают сплин.

Энн Арбор, глушь и вечная сонливость.
Спасает «Бушмилс», реже баскетбол,
порою «Ардис» выдает сюрпризы
(Парнок, Платонов, Бабель, Гиппиус),
но в целом пустота и ничего.

И остаются женщины да память
в элегиях Архангельской зимы:

их можно сочетать друг с другом, разве
не забывать поставить лед и в вазе
подрезать стебли, чтоб цвели цветы.

«Постареешь, обрюзгнешь, нацепишь очки...»

Постареешь, обрюзгнешь, нацепишь очки,
на хитон и хламиду заменишь футболку,
на руке будут сонно болтаться котлы,
но уже не для времени – просто, без толку;

по разбитым дорогам завянут шузы,
заржавеют от выпивки медные трубы,
негасимый огонь превратится в пустырь,
а ты сам обернешься надгробием грубым,

на котором легко прочесть пару строк,
пару строк о величии замысла Бога:
«Это был человек, совершенный никто,
но сумел утонуть в ангелическом слоге».

Владимир Косогов



Родился в 1986 году в Железногорске. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Публиковался в журналах «Арион», «Знамя», «Ок-

тябрь», «Нева», «Сибирские огни», «Москва». Лауреат поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай», международного Волошинского конкурса, премии «Лицей».

«Это все набухают на ветках почки!..»

Е. К.

Это все набухают на ветках почки!
Это все щебечут над ухом птички!
Это люди уходят поодиночке,
как в обугленных шляпах худые спички.

Я и сам не чувствую облегчения,
я всю зиму мучил стихотворение.
Получилось хуже, чем ожидалось:
жизнь ушла на вдохе, судьба – осталась.

Так и что теперь, не писать ни строчки,
чтобы вдруг никакой не случилось стычки?
Приглядеться если – видны листочки,
восхищаются жаворонки, синички.

«Уже не человека – пленника...»

Уже не человека – пленника
Иных, заоблачных миров —
Спросил: «Позвать тебе священника?»
Отец кивнул без лишних слов.

Ведет дорога на заклание
Рабов Твоих в глухой тупик,
Чтоб для последнего свидания
Прийти в сознание на миг.

И длится до реанимации
Смертельный бой – предсмертный час.
А что не в силах попрощаться мы,
Так – то не главное сейчас.

«Выучил чиновничий язык...»

Сергею Сергеевичу Романову

Выучил чиновничий язык.
Он как птичий к нёбу прилипает,
сорный вытесняет борщевик,
говорит о том, чего не знает.

Клерк типичный, вросший в конеляр,
все на нем щебечет как по нотам.
Не отчет выходит – мемуар,

на потеху судьям, идиотам.

«Косоков В. Н., рожденный в
г. Железногорске (подсудимый —
далее по тексту). Он вины
не признал. Но факт неоспоримый:

рано утром, с четырех до пол —
девятого, записывает знаки
(вставлена шифровка в протокол,
будет взят анализ на филфаке)».

И уже другой напишет клерк,
препод с недосыпом под глазами:
«Косоков – ничтожный человек,
только вы его судите сами».

«Слава Богу, смертно это тело...»

Саре Зельцер

Слава Богу, смертно это тело.
Значит, прекратится в тот же миг
Боль в груди, что жгла осатанело,
С губ срывала первобытный рык.

Кто концовку выдумал? С улыбкой

На лице чтоб я сошел на нет.
Стал орфографической ошибкой,
С этим светом тот рифмуя свет...

Дмитрий Ларионов



Родился в 1991 году в городе Кулебаки Нижегородской области. Окончил филологический факультет ННГУ име-

ни Лобачевского. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Плавучий мост», «Кольцо А», «Нижний Новгород» и других. Шорт-листер Волошинского конкурса (2017, 2019), финалист премии «Лицей» в номинации «Поэзия» (2020). Живет и работает в Нижнем Новгороде.

«Кенигсберг» и другие облака

Другие облака

Кружила бабочка */исчезла/*,
река в апрель перетекла;
а я курил помятый «Честер»,
смотрел другие облака.
«Ни древний Родос, ни Гавана, —
твердил себе. — Ни Лимасол.

Я вопреки – любил упрямо.
И пел БГ с альбома «Соль».
<...> но облака смещали тучи,
потом черемуха цвела.
Рюкзак и плеер многим лучше
сбивали перечень утрат.

Не говори, обычный метод;
другие песни прогони.

Проснусь и я лиловым летом,
где во свету лежим одни.
Обоим, верно, под двадцатник
блестит заколка у окна,

молчит будильник у кровати /.

<...> идут другие облака
и чайки – разрезают утро.
<...> полуоткрытое окно.
И целый мир ежеминутно
опять сдвигается в одно.

«Играет ножичком на Лыковой...»

Играет ножичком на Лыковой;
сидит с иголки клифтец.
Закат толчеными гвоздиками
смещает облачный свинец.

Он точно был в «КОГИЗе» Рябова,
сюиту жизней я читал:
хранил в руках живое яблоко,
переходя ночной квартал.

Но на страницах ранней «Юности»
не довелось быть рядом с ним.
Не по знакомству, не по глупости —

смотри – на Лыковой стоим:

Денис, Владимир и товарищи
/и не спросить: «Чего-чего?»/;
а рядом – под звездой мигающей —
задумчив Игорь Чурдалев.

Спешит один на Караваиху,
другой – умчал в Автозавод.
Взят «Кенигсберг» и левый Heineken.
Вся жизнь пошла наоборот.

Лимонов

В индийском воздухе не растворился:
оплыл Москвы бесснежный март
на оболочке влажного ириса.
Качнулась времени корма:
Ист-Сайд, Вест-Сайд, пустой парк Иоанна
и Сены – мутная вода —
стремит к Ла-Маншу два тюльпана.
Он прожил эти города,
он был герой в плаще. И сочинитель.
Потом – бушлат и Вуковар,
опять Париж, Москва. Наезды в Питер
в пивных обтерли рукава.
Через кострища флагов возвращался,

режимный Энгельс вспоминал.

Другим – Венеция и Талса —

а у него – иной финал.

Не за одну звезду в покатом небе

жизнь обернулась колесом:

в его глазах свободы соль. И пепел.

И троекуровский песок.

Проза

Анастасия Курляндская (Родионова)



Журналист поэт прозаик.

Стихи и проза публиковались в литературных журналах, рассказ «Куколка» вышел в сборнике издательства «Эксмо» «Жить!». Автор текстов к ряду театральных проектов, среди которых «Орфические игры. Панк Макраме» Бориса Юхананова, опера «Эвридика» на музыку Дмитрия Курляндского в постановке Антуана Жиндта (Франция), I'd rather sink Алиенор Доше (Германия), участник музыкального проекта «Курляндский/Родионова».

Убить Ленина

Фрагмент романа

Все герои вымышлены, совпадения случайны.

3.

– Ань, глянь, как Игорь на тебя смотрит-то. Может, сойдётся, будете самой красивой парой МГУ, – сказала однажды Анне ее приятельница Вера с филологического факультета.

Большая, пышная, как дрожжевое тесто, с простонародным выговором, она была противоположностью стройной, рафинированной Анне. Та посмеялась над примитивным ходом Вериных мыслей, но фраза о самой красивой паре все же запала ей в голову, и в следующий раз Аня улыбнулась

Игорю в ответ, когда они пересеклись на лестнице первого Гума.

Через неделю он подарил ей самиздатовскую кандидатскую Зиновьева – «Метод восхождения от абстрактного к конкретному (на материале “Капитала” К. Маркса)». Анне было не очень интересно, но она прочла, а на следующий день они сидели в столовой, Анна аккуратно отхлебывала компот маленькими глоточками и задавала Игорю уточняющие вопросы.

Через год они поженились, его аспирантская стипендия с преподавательской ставкой и семейная комната в общежитии позволяли им жить неплохо по советским меркам, раз в две недели они даже ходили обедать в ресторан «Прага», ели котлету по-киевски, запивали шампанским и рассматривали посетителей.

– Думаю, он ей изменяет, пришел вчера за полночь, сказал, что в таксопарке проблемы... – Аня замешкалась, додумывая продолжение. – Что машины недосчитались и вызывали милицию. А она уже звонила в таксопарк, всего там досчитались, вот только его не было.

– Боже мой, какой еще таксопарк? – смеялся Игорь.

– Он там работает, вон видишь, у него усы квадратные и просесть на них, как шашки на машине. – Аня указала на усы пятидесятилетнего мужчины в клетчатом пиджаке, он сидел за столиком с блондинкой его возраста, у которой было красивое, утомленное лицо.

– Почему изменяет? Он же страшный, а она красотка.

– Потому что это единое основание двух взаимоисключающих сущностей и они так взаимодействуют.

– Значит, повезло, что мы с тобой тождественны – оба умны и хороши собой, – снова засмеялся Игорь.

Аня кивнула. Ум Игоря порой вызывал у нее сомнения, чтобы прогнать эти мысли, она представляла их счастливую старость на профессорской даче или, быть может, в эмиграции, где-нибудь в уютном европейском университетском городке. Это помогало, но ненадолго.

Игорю было не занимать кругозора, но недоставало хватки, чувства момента, скорости реакции, и все это намекало на слабость. Порой Анна думала, что скоро, возможно, даже начнет презирать его за этот намек. Но пока выдерживала свои чувства за дверью, которую откроет в подходящий момент, когда произойдет что-то необратимое. Что именно, она сама не могла объяснить.

Однажды, в выпускном классе, Аня гуляла по парку с парнем, в которого была тогда влюблена. Вдруг на пустую аллею выскочила большая страшная собака и с лаем бросилась на них. Анин кавалер отреагировал мгновенно, прикрыл ее собой, собака рыкнула пару раз и скрылась за деревьями. Но испуг, который читался в тот момент в его глазах, так неприятно поразил ее, что она не стала с ним больше встречаться.

Когда Аня рассказала эту историю Игорю, он не мог понять, чем она оказалась недовольна.

– Так тот парень же за тебя испугался, – удивлялся он.

А Анна не могла объяснить, почему неумение «держать лицо» имеет для нее такое значение.

Игорь кивнул в сторону двух мужчин, одному на вид около тридцати, другому немного за пятьдесят. У обоих аккуратные, средней длины бороды, только старший был похож то ли на цыгана, то ли на еврея с кучерявыми наполовину седыми волосами, бровями вразлет и бордовым шейным платком, а у младшего была эталонная русская внешность, встречающаяся на дореволюционных фотографиях. Близко посаженные серо-голубые глаза, темно-русые волосы, прямой, определяющий лицо нос, только большая выпуклая родинка на лбу, похожая на присевшую муху, нарушала благородный былинный образ. На столе перед ними стояла бутылка самого дорогого коньяка, жульены и розетка с икрой.

– А, постой, я их знаю! – вдруг вспомнил Игорь. – Это Олег Бойко и Ян Маркович. Мы мельком пересекались у Вольского в прошлом году. Ян – искусствовед, Вольский рассказывал, что он картину Филонова недавно продал то ли в Голландию, то ли в Бельгию. Как-то через Эстонию ее переправил, авантюрная история, но я забыл подробности.

– Ты, как всегда, самое интересное забываешь, а второй?

– Второй – это его помощник. Они давно вместе работают, выставку вот провели запрещенных художников в одной провинциальной усадьбе, ты слышала же о ней? Так это они все организовали. Сначала шло хорошо, местные их прикры-

вали, а потом областное начальство со скандалом выставку ликвидировало, но часть произведений была неподучетной, и, видимо, Бойко с Марковичем смогли их спрятать. За них теперь, разумеется, плотно взялись, но они, видишь, держатся, марку не роняют. Вообще, конечно, времена наступили вегетарианские.

Мужчины заметили, что на них смотрят, узнали Игоря и приветственно замахали, подзывая к себе.

– Давай подойдем к ним, – сказал он.

Анна достала из сумки зеркальце, поправила длинные золотисто-рыжие волосы так, что несколько прядей из пучка выпали на плечи, довольно улыбнулась и пошла за мужем.

– Мне рассказывали о том, какую интересную вы написали диссертацию, но умолчали, что вы женаты на самой красивой девушке Москвы! Мечта прерафаэлитов, – сказал Ян Маркович.

Голос у него был глубокий и приятный, как бордовый цвет его шейного платка. Кудри с проседью легли на выпуклый большой лоб, и он нарочно не убирал их, а иногда потряхивал так, что они спиралями катались по лбу. Маркович долго, не стесняясь, рассматривал Анну, как обычно разглядывают красивую картину.

«Голубой, наверное», – решила она.

Олег же, наоборот, смотрел украдкой, и от его взгляда у Анны по спине пробежали мурашки. При знакомстве он протянул ей руку и задержал Аннину ладонь в своей чуть

дольше приличного. Она с опаской посмотрела на Игоря, но он уже увлеченно расспрашивал Марковича о его планах по поводу новой выставки.

– Я думаю, через год все точно удастся организовать. Мы сейчас стараемся вести себя тихо, живем в Ленинграде, точнее, в Пушкине, иногда по делам наведываемся в Москву, – рассказывал он чуть захмелевшим голосом. – У нас с Олежкой традиция, приезжаем на Ленинградский вокзал, берем такси и едем сразу в Сандуны мыться.

– А в Сандунах правда банщики посетителей до сих пор называют «ваше превосходительство»? – зачем-то спросил Игорь, и Анне стало за него стыдно.

– Ну, кого-то, может, и называют, а старого еврея и молодого русского афериста молча бьют по жопе веником. Простите, Анечка. Так вот, мы моемся, паримся, смываем с себя дорожную пыль, выходим на свежий воздух, снова берем такси и едем в «Прагу», обедать. А потом уже за работу можно браться.

– Официант, принесите два фужера для наших друзей и бутылку шампанского! – попросил Олег, голос у него был под стать глазам, чистый, довольно высокий, со следами простонародного выговора, от которого он, судя по всему, старался избавиться.

– И чем вы будете заниматься в Москве? – спросил Игорь.

– Составлять один очень интересный каталог. Хотя это громко сказано, в типографии в нашем положении обра-

щаться опасно, поэтому будем печатать сами. Но много нам не надо, каждый экземпляр будет наперечет, чтобы к кому не надо в руки не попал, – объяснил Маркович.

– Помните, как у Галича:

«Эрика» берет четыре копии

Вот и все!

...А этого достаточно.

Пусть пока всего четыре копии —

Этого достаточно,

– очень фальшиво напел Олег.

– Эрика берет четыре копии, а ксерокс значительно больше, – многозначительно произнес Игорь.

Он рассказал, что у него есть доступ к ксероксу в одном НИИ.

– В институте, где я недавно получил ставку, ксерокса нет, и слава богу. Но есть в дружественном заведении. Журнал копирования ведет чудесная старушка с голубыми волосами по кличке Мальвина. Я часто подкидываю ей халтуру, а она за это пускает к аппарату и как-то умудряется мухлевать с чернилами, за ночь успеваю сделать много важных дел.

– Будем иметь в виду, – сказал Олег.

Аня поморщилась, ее волновало, что Олег говорит с Игорем каким-то снисходительным тоном, хотя старше его всего на пару лет. Да и у мужа сейчас солидная должность в институте, на которую его взяли, хотя он только дописывает

кандидатскую.

5.

Когда Игорь попросил счет, Маркович энергично замотал головой, кудри пружинками забавно отскакивали от его лба, и Анна засмеялась. Олег уже не скрываясь разглядывал ее, а при прощании снова задержал руку. В этот момент Анне показалось, что ее завернули в большое ватное одеяло, и нет вокруг этих столиков, официантов в фартуках, нет Игоря, Марковича и даже самого Олега, есть только ощущение защищенности, как в детстве, когда папа вез ее, укутанную с ног до головы, на санках по засахаренной морозной Москве, до того как их выселили из квартиры и они навсегда поселились в Рыбинске. Аня больше никогда не видела такой белый, хрустящий снег, как тогда.

Через полгода Игоря арестовали. Когда его посреди ночи под руки выводили из их комнаты в общежитии, он оглянувшись через плечо на Анну, засмеялся и начал напевать: «Эрика берет четыре копии... Вот и все!»

Тогда она поняла, что очень сильно любит его.

– Ты теперь соломенная вдова, – расплакалась Вера, когда узнала, что случилось с мужем подруги.

– Давай без этих деревенских клише, Вер, никто уже так не говорит, – отмахнулась Аня. Она терпеть не могла, когда ее жалеют. – Игорь теперь герой, диссидент. К тому же сей-

час уже никого больше, чем на три года, не сажают, освободится – и уедем с ним в Америку.

Вера сочувственно покачала головой, она решила, что с горя у ее подруги поехала крыша. Когда-то Аня призналась ей, что тоже хотела поступить на филфак, но не прошла по конкурсу и поэтому оказалась на философском, где балл чуть ниже. С тех пор Вера стала искать любую возможность, чтобы с ней пообщаться. Она смотрела на гибкую, высокую, со вкусом одетую Аню и упивалась осознанием того, что прямо сейчас занимает ее место на кафедре славянской филологии. Дочка сельской продавщицы, которая по три километра пешком ходила в школу, добилась того, чего не смогла добиться эта столичная фифа. Вере было хорошо от этой мысли, но потом становилось за нее стыдно, и она старалась, как могла, угодить Анне: то перепишет за нее курсовую, то принесет банку ее любимых квашеных помидоров, которые закручивала Верина мать.

Анна тоже получала выгоду от их дружбы. Безотказную Веру можно было нагрузить просьбами, перед простоватой подругой она могла спокойно посплетничать об однокурсниках, поделиться тем, как видит Игоря на профессорской должности, а себя – в их большой, просторной квартире с ребенком и няней.

– Хорошо, что я не прошла на филфак, пришлось бы учительницей в школе работать, а после философского сам Бог велел дома сидеть, – виолу-шутку, вполусерьез рассуждала

она.

А Вера, размякшая от фразы «не прошла на филфак», охотно слушала и поддакивала.

На следующий день после ареста Игоря Аня сидела на полу их семейной комнаты в общежитии, вокруг валялись скомканные вещи, горы бумаг, немного посуды и высокие стопки книг.

Она держала в руках самиздатовского Гумилева и вчитывалась в любимые стихи, прежде чем от них избавиться.

*Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела,*

– монотонно произносила Анна и раскачивалась из стороны в сторону.

Глядя на нее, Вера подумала, не стоит ли вызвать неотложку. Она пришла помогать подруге собирать вещи, ведь из семейной комнаты теперь нужно было выезжать.

– «Шатуны», Юрий Мамлеев, – прочла Вера на стопке листов, вручную сшитых белыми нитками.

– Ой, это надо спрятать, спрячь ты, умоляю! И там фотография внутри, не потеряй! – взмолилась Аня.

– Ты что, Ань, я боюсь! – ответила Вера.

Аня тихо заплакала.

– Передай это матери Игоря, она завтра придет, ну прошу

тебя. – Аня сильнее зарыдала.

– Ладно, ладно, ты чего, не реви. Раньше бы тебя из университета выгнали, а теперь не тронут, у нас уже, считай, гласность, – приговаривала она успокаивающим тоном, пока складывала в коробки вещи.

– Ты сейчас так наклоняешься за вещами в этой своей цветастой юбке, с широкими лодыжками, что мне кажется, ты деревенская баба, которая на речке полощет белье, – всхлипнула Аня.

Вера обиженно посмотрела на нее, но Анна снова начала качаться из стороны в сторону и басить:

*Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.*

Аня читала наизусть, и Вера хотела было забрать листы, но побоялась трогать.

*Сердце будто пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны,*

– продолжала она.

Глаза блестели, рыжие волосы растрепались. «Точно рехнулась, – подумала Вера. – Еще бы, горе-то какое, мужа в тюрьгу упекли».

Как только Вера закончила собирать вещи, составила коробки одна на другую возле двери и даже сняла пыльные занавески, лицо Ани чудесным образом прояснилось, она перестала читать стихи и сама попросила убрать их в коробку для матери Игоря.

– Вер, я ее точно не буду передавать, ты же понимаешь, что за мной слежка. А на тебе нет ни тени антисоветчины, так что надо донести коробку до остановки, эта стерва будет там в шесть, – попросила Аня.

– Да ты что, если за тобой слежка, то и за матерью его тоже, – возразила Вера.

– Да кому эта старая кляча нужна, нет за ней никакой слежки и отродясь не было! Да и за Игорем не было, попал просто под раздачу со своим этим ксероксом. – Анна оперлась спиной о стену и начала пересчитывать коробки, нарочито показывая на каждую из них пальцем.

– Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, – повторяла она и медленно сползала вниз.

– Отнесу, Ань, конечно, ну что ты, конечно, отнесу. А ты пока ребят позови, вещи перетащить-то надо, – сказала перепуганная Вера.

– Поможешь потом разобрать? А то у нас всегда Игорь таким занимался, – всхлипнула Анна.

– Ну о чем речь, разумеется, помогу.

– Только я сегодня поздно буду, можно завтра тогда. А куда ты платье мое с розами убрала?

6.

Игорь писал Ане из лагеря длинные письма. Развод он предложил на первом же свидании, но она категорически отказалась и попросила никогда даже намека на это больше не делать.

«Я умудрился запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под названием “советская тоталитарная система”. Раньше бы до десяти лет получил, а сейчас только три. Значит, недолго этой власти осталось. Я бы дал лет десять, не больше. А потом будет свобода, новая жизнь, новая страна... Не буду развивать эту мысль, а то цензура письмо завернет.

Мальвина, кстати, к моему аресту отношения не имеет. За ней следил (несколько строчек письма было зачеркнуто толстым слоем чернил, отличавшихся от тех, которыми писал Игорь).

Только, Анечка, девочка моя, заклинаю тебя, никому не говори, что меня взяли за копированием нетленного труда Рамачарака “Хатха-йога”. Лучше бы уж с “Доктором Живаго” попался, ей-богу. Для нас же эта йога только повод собраться. Да и книга дурацкая совсем, профанный новодел, бред сектантский. Эх, ладно, в конце концов, я там много полезного накопировал, а с Рамачараком бес попутал.

Что-то вспомнил я нашу Машу... понимаешь, о ком я.

Расскажи, как у тебя дела, хватает ли денег? Если нет, займи у моей матери, я выйду, быстро на ноги встанем, верну. Как у Вольских дела, что говорят, чем живут? Как на кафедре, как в институте? До меня дошли слухи, что у Александра Александровича вышел роман. Ты, конечно, его не читала, и я тебе не советую, но отзывы о нем мне, пожалуйста, пришли. Мордовия, ИТК-3, 1977».

«Ну вот, еще на месяц ближе стала наша встреча, а расставание перевалило через экватор. Очень люблю тебя, Игорь, и жду. У мамы твоей я деньги брать не буду, да и общаться с ней нет желания. Захотела бы, сама бы предложила. Даже моя мать, которая, как тебе известно, последняя скотина, проявила некоторое сострадание. Впрочем, это она от радости, что у меня так все плохо. Ну да ладно, не будем об этом, есть только ты, я и наш будущий сын. Я уверена, что у нас с тобой будет сын, у всех женщин в моей семье слишком сложная судьба. Мы назовем его Святослав. Вот вернешься, жизнь наладим и заведем Светика.

Про книгу пока ничего сказать толком не могу, ее только издали в Швейцарии. Нет, все же напишу, не могу удержаться. Когда книгу показали Мамардашвили, он сказал “Сашу надо отшлепать”. Вот, знаю, что ты заинтригован, но больше ни слова. И это-то наверняка замажет цензура.

Помнишь Олега Бойко и Яна Марковича, которых мы встретили в “Праге”? Они тоже успели в этот поезд, который

ты назвал “советская тоталитарная держава”, в соседний с тобой вагон. Вы не пересекались в лагере? Кажется, их год держали в Лефортово и этапировали не так давно. Доказать ничего не смогли. Им вменили только подделку документов, причем за просроченные членские билеты Союза художников, представляешь? Им дали всего три года, точнее, Олегу даже меньше трех.

Я обнимаю тебя, считаю дни. Ты знаешь, в воздухе, действительно, пахнет переменами и надеждой на свободу, мы будем очень счастливы, когда ты вернешься.

Москва, 1977».

«Расскажи, пожалуйста, ходишь ли ты в тот магазин на углу, возле общежития? Какой цвет волос у продавщицы, она же каждый месяц перекрашивалась? Не подхватила ли ты простуду? У нас тут все болеют, у Юрки двустороннее воспаление легких, скорее всего, он не доживет до весны. Я не жалею, другим хуже, но иногда мне кажется, что я тут навсегда. У Арнольда от ангины пропал голос, и мы живем в такой непривычной тишине.

Я пробовал чифирь, ты знаешь, ничего особенного. У нас тут чай – это валюта, как и сигареты. Чифирь варил зэк, они тут изредка попадают, специально проникают на политическую зону, это очень интересная тема, потом расскажу.

Напиши, пожалуйста, у вас уже пришла весна? У нас же с тобой совсем разный климат, тут всю метут метели, а

у вас, наверное, уже почки распускаются. Тебе может показаться странным, что я говорю о погоде, но, ты понимаешь, мне это очень важно. Запоминать и воссоздавать пейзажи, я так убеждаюсь в факте собственного существования, твоего существования, нашего.

<...несколько строчек зачеркнуто, текст не разобрать... >

Знаешь, когда Лорка ждал расстрела, он посмотрел на шеренгу выстроившихся с ружьями солдат, готовых вот-вот пустить в него онемевшие пули, и увидел поднимающийся солнечный диск. И он сказал: «Все-таки солнце восходит!» А я скажу: все-таки по дороге от метро до института бежит грязный ручей, продавщица все-таки перекрашивает волосы, все-таки ты ждешь меня. Я давал тебе читать Лорку? Обязательно почитай, он, слава богу, есть во всех библиотеках.

Надо же, расстрел, рассвет, как похожи эти слова, я раньше и не замечал.

Мордовия, ИТК-3, 1978».

Света взяла пачку писем и сложила их в аккуратную стопку. Завтра нужно было рано вставать и ехать на репортаж, а она знала, что легко может увязнуть в архиве отца на всю ночь. На часах было полвторого, и она поставила второй будильник на телефоне, на пять минут позже первого, чтобы наверняка не проспать. «Ехать же еще к черту на рога», – с досадой подумала она.

Из пачки выпала пара листов. Света подняла их и не удержалась от того, чтобы заглянуть. Судя по дате, мать писала одно из писем отцу незадолго до его освобождения. На обороте листа сверху что-то было густо перечеркнуто. Но даже сквозь слой чернил можно было увидеть следы предыдущих букв, оставленные острой перьевой ручкой. Там почерком матери было написано: «Здравствуй, Олег».

«Интересно, видел ли это отец, – подумала Света. – Скорее всего, не видел, хотя даже если бы и посмотрел, ему бы в голову не пришло заподозрить в чем-то мать. А вот она наверняка сделала это специально. Хотя мог ли он не замечать, что у них с Олегом сразу появилась чувства? Или он делал вид, что не замечает. Или не хотел верить в плохое».

Свете показалось, что, возможно, Анна хотела, чтобы Игорь прочел это. Конечно, она отправила ему письмо именно на том листе не случайно. Он бы все понял, сказал «ну и убирайся к Олегу», а может быть, сам просто молча бросил ее, и не было бы Светиною рождения и еще нескольких лет, которые они прожили вместе.

Света положила письма обратно в коробку, а коробку убрала в сервант. Именно там она нашла их, когда после смерти отца окончательно переехала в его квартиру. Сервант был одним из немногих мест, которые Света решила разобрать, да и то, скорее, из любопытства. Когда выяснилось, что отец позаботился о документах и завешание вот-вот вступит в силу, она ждала переезда от матери как спасения, но, оказав-

шлись одна, не знала, что делать с этой свободой, и просто сидела в зале ожидания между двумя разными отрезками жизни. Сняла с окон старые, почти истлевшие шторы, но новые так и не повесила. Поскольку квартира была на первом этаже, вечером она включала только маленькую настольную лампу в отцовском кабинете, свет от нее едва достигал кухни-столовой, в которой она обычно сидела перед сном. Когда кто-то приходил в гости, Света врала, что не трогает ничего специально, потому что договорилась с бригадой о ремонте и они скоро начнут работу, но на самом деле ни с кем не договаривалась.

Света прикрыла дверь в отцовский кабинет и забралась на подоконник. За окном ссорилась молодая пара. Но это была добрая, смешная ссора. Благодаря жизни на первом этаже Света могла наблюдать за людьми на улице, а они ее, как правило, не замечали. Из-за близости зоопарка под окнами у нее часто проходили семьи, в основном в них было по одному или два ребенка, но бывали и с тремя, четырьмя, а однажды она видела целый выводок детей. Многодетные родители действовали слаженно, как два солдата, которые собираются в наступление. Один открывает дверь машины, другой быстро подхватывает детей и усаживает младших по коляскам, первый берет старших за руки, нет времени спорить, оглядеться по сторонам, нельзя останавливать движение. Света смотрела на эти семьи и пыталась угадать, кто из них счастлив. Таких, как ей казалось, попадалось немного.

На этот раз родители мальчика лет четырех и девочки тринадцати не могли отыскать, где оставили машину. Отец раздраженно читал названия на карте, мать взволнованно озиралась, дочка хохотала, а мальчик, равнодушный к семейной неурядице, тыкал палкой в лужу. Света улыбнулась.

Совсем стемнело, со стороны зоопарка донесся гулкий протяжный вой, судя по всему, волка не стали загонять в ночной вольер, а разрешили на время остаться в клетке, и теперь он смотрит на луну, единственную часть вольного мира, которая не отгорожена от него ни толстым стеклом, ни прутьями, между ним и луной не стоит ни одной преграды, и он может спокойно общаться с тем, кто воет ему с нее в ответ.

«Говорят, ни на какую луну они не смотрят, а просто поднимают морду вверх, чтобы лучше разносился звук, – вспомнила Света. – Хотя кто может знать наверняка».

Однажды она видела волка вблизи, его приводили в редакцию ко Дню зверей-киноактеров. Еще привели огромного умного попугая и смешную толстозадую ламу, но волк был интереснее всех. Он пах гораздо резче, чем собака, несравнимо сильнее. Волчий запах в итоге заполнил собой несколько этажей. Волк давал себя гладить и даже лизнул Свете руку, издалека его можно было принять за собаку, но вблизи было видно, что это совершенно другой зверь, подчинившийся обстоятельствам, но не сломленный, он принимает правила игры, но не служит и в любой момент может откусить руку, протягивающую ему кусок еды, но не делает этого

только потому, что не хочет.

Вой резко оборвался, видимо, волка все же увели в во-
льер, чтобы не мешал спать местным жителям.

Анаит Григорян



Родилась в 1983 году в Ленинграде. Окончила биолого-почвенный факультет СПбГУ, филологический факуль-

тет СПбГУ по направлению «Литература и культура народов зарубежных стран». Кандидат биологических наук. Состоит в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Автор книг «Механическая кошка» «Из глины и песка».

В 2015 году в журнале «Урал» опубликован роман «Diis ignotis [Неведомым богам]». Рукопись романа «Поселок на реке Оредеж» вошла в шорт-лист литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина, лонг-листы премий «Ясная Поляна» и «Большая книга» (2018, 2019), в 2019 году роман опубликован в издательстве «Эксмо».

Невозвратные дни

Рассказ

*Памяти моей бабулечки, которая тоже могла
при случае употребить крепкое слово.*

Утро плывет в жарком мареве – как хорошо! Небо чистое, яркое, похоже на синий эмалированный ковш, в котором бабушка кипятит для нас молоко, – говорит, Марфа Терентьевна недоливает, жмотится, старая зараза. Мы ей деньги за это платим, а она вон что – всего полбидона! Всего полбидона – где это видано! Только вы, девочки мои золотые, не пейте его сырым ни в коем случае, она ведь, сволочь такая, грязнуля, корове вымя не моет, пока доит, еще в носу своем поковыряется, о подол оботрет, а потом снова за вымя хватается, от

нее можно и дизентерию подцепить. Она ведь еще при советской власти полдеревни дизентерией перезаражала, как ее, дрянь такую, не посадили-то еще. Мы, понятное дело, пока идем от дома Марфы Терентьевны, не удержимся, сами побидона и выпьем, да еще нарвем по пути малины, свешивающейся из-за чужих заборов гибкими колючими стеблями; ягоды ее припорошены тонким слоем глиняной пыли с дороги и чуть скрипят на зубах.

У Марфы Терентьевны три кошки, она их так и зовет – Бабка, Мамка и Дочка, все три белые с черными и рыжими пятнами, разве что у Бабки шерсть больше похожа на войлок и усы уже немного повисли, потому что старая. Блюдца для них выставлены в прихожей, там же, где на столе, укрытом чистой бежевой клеенкой, ждут нас бидоны с парным молоком. Кошкам тоже налито молоко, и если они его проливают, то Марфа Терентьевна, кряхтя, подтирает тряпкой пол и жалуется, что пожалела, оставила каждой дряни по котеночку, что же, она не понимает, она ведь тоже и мать, и бабка, а они вон чего, вон чего, ну ты погляди-ко, бясстыжыя, поразливали, все угваздали, дряни, ты смотри-ко, от бясстыжыя, и шлепает тряпкой по носу подвернувшуюся кошку.

– Ну, где молоко, сволочь старая? – Бабушка, сняв крышку с бидона, заглядывает внутрь. – На чем я детям кашу буду утром варить? Нет чтоб хоть водой развести, как другие делают, а она, наглая, недоливает, и все тут! Вон, смотрите, что делает!

– Бабуль, да это мы сами... – начинает сестра и прикусывает язык, но поздно, да и бабушка уже рассмотрела на горлышке бидона тонкий белый след: Марфа Терентьевна наливают бидон «под сих», так что его боязно забирать со стола, и иной раз мы его чуть наклоняем и отпиваем сразу, чтобы не расплескалось.

– Ах вы!.. Да что ж за девки-то такие! – Бабушка размахивается, случайно задевает рукой бидон, он падает, громко лязгая ручкой, и катится по полу. – О-ой, гадина старая, что наделала! Что ж ты наделала, а, маразматичка, ду-ура! А вы что вылупились?! В гроб меня хотите вогнать?! А ну пошли вон отсюда, я сказала, вон пошли, гадины! – Она устало опускается на стул и смотрит, как белая простыня молока медленно растекается по давно не крашенным доскам. – Пустую гречу завтра у меня жрать будете, сволочи.

– Память же у меня всю жизнь была великолепная. – Бабушка курит по две-три пачки «Беломора» в день, папиросы ей покупает всегда только дедушка, потому что что о ней люди скажут, если она погонит детей за табачищем, а деревенские, вон, и за водкой своих гоняют, им же ссы в глаза – все божья роса, не стыдно, что дите едва до прилавка носом дотягивается, а берет водку, сволочи... – Как я в университете тысячи сдавала! Вот вы представьте себе, что меня из акушерской школы, где я была лучшая ученица, сразу же бросили в большой университет! И вот мне бедный Сла-

вочка Белых, совсем молодым он умер, от рака кожи, – бабушка крестится, не выпуская из пальцев папиросы, – еще фамилия у него была какая, Белых, и сам был альбиносом, весь был белый, волосы были, как бумага, даже ресницы были белые, а глаза – голубые-голубые, все наши девки были в него влюблены. Так вот, Славочка писал мне подстрочник, а я перед зачетом смотрела на страницы с этим подстрочником и запоминала дословный перевод. Память у меня была фотографическая, а языки никогда не давались, вот и пойми теперь, как человеческий мозг работает, по-английски я знаю только I smoke, это значит – «я курю».

Когда бабушка в таком настроении, мы сидим с ней на кухне в вечерние часы, а она рассказывает нам о своей далекой молодости в Ленинграде, все больше про то, как за ней ухаживали студенты в большом университете, и кажется, будто она в студенчестве только тем и занималась, что крутила романы, а учился за нее бедный Славочка Белых, у которого фамилия так странно совпадала с цветом его волос и ресниц.

– А он в тебя не был влюблен, бабуль? – спрашиваю я, раскачиваясь на стуле (бабушка говорит, что у меня шило в жопе, а сестра – так та вообще мотовило, да сиди ты спокойно, что ты крутишься, что ты все крутишься, как уж на сковородке).

– С чего это ты взяла, что он был в меня влюблен? – Дрожащая бабушкина рука застывает над банкой из-под шпрот,

в которую она стряхивает пепел. – А? Не был он ни в кого влюблен, он отличник был, с утра до вечера занимался, все думали, станет профессором, а он и до тридцати не дожил... – Голос ее тоже начинает дрожать.

– Да бы-ыл, наверное, – гну я свое, а сестра еще глупо подхихикивает. – Он же тебе вон сколько помогал, стал бы он тебе тысячи подписывать, если бы влюблен не был! Да? Ты как думаешь?

Сестра задумчиво смотрит на свои длинные босые ноги. Она рано вытянулась, и бабушка называет ее жеребенком.

– Ну, разве же нет? Нет разве?

Бабушка раздраженно тушит папиросу и щурится, как будто пытается разглядеть что-то прямо у себя перед носом, долго молчит, так что становится слышно, как в лампочке над плитой потрескивает электричество, а потом выговаривает сквозь kloкочущие в горле слезы:

– Несут, несут, а что несут, сами не знают, за что мне вас, двух дур, ваши родители на все лето навязали. Это все за то, что я никому в жизни слова поперек сказать не умею, вот все и ездят, кто как хочет...

– Стервы! Стервы бессовестные! Ну не дети, а сволочи! Дедовы носки специально выбросили, а сами врут, что упустили. Упустили они, как же! Что вы смотрите глазищами своими, стервы две?! У-у, смотрят, глазищами лупают, сволочи! Бесстыжие!

Мы стоим, уставившись в пол и изображая виноватых, а сами, понятное дело, давимся от смеха: бабушка никогда не дерется, только ругается, а дедовы носки густо воняют тяжелым трудом и хозяйственным мылом, и мы, полоща белье на речке, выбрасываем по одному из пары, чтобы было незаметно: они плывут вниз по течению, кружатся в завихрениях пены, цепляются за прибрежный тростник, потом отцепляются и уплывают дальше.

– Как думаешь, этот до моря доплывет? – спрашивает сестра, удерживая трепыхающийся носок двумя пальцами.

– Может, и доплывет, – говорю я, – а может, и нет.

– Первый пошел! – Сестра разжимает пальцы, и носок отправляется в путь.

Бабушка сначала не замечала, а потом мы увлеклись, и она догадалась, что носки исчезают не случайно. Сегодня она еще не разобрала все белье и не заметила, что мы еще и дедовы портки упустили. Портки плыли хорошо, распластавшись на пол-реки, величественно покачиваясь и сияя здоровенной заплаткой на причинном месте.

– Стервы! Совсем совесть потеряли! – кричит бабушка, обнаружив пропажу. – Портки выкинули!

Почти же новые портки у деда были, да что ж за сволочи! Тут мы не выдерживаем и начинаем ржать.

– Вон отсюда! – Бабушка хватается из таза первую попавшуюся мокрую тряпку и гонит нас ею из кухни на улицу. – Вон! И чтоб я до вечера вас не видела! Пошли вон отсюда, гади-

ны две! Вот же навязали бесстыжих девок, сил моих больше нет! Вечером дед, приняв на грудь грамм двести, раскатисто храпит, так что мы не спим, сидим на сестриной кровати и о чем-то хихикаем. С кухни заглядывает бабушка, в руке у нее полотенце. Увидев деда, вытянувшегося во весь свой богатырский рост на кровати, бабушка наискосьогревает его полотенцем.

– Сволочь! Хрен старый! Что ты детям спать мешаешь?! Заткнись и спи как люди, старый дурак!

Дед, не просыпаясь, переворачивается на бок и перестает храпеть. Наступает тишина.

– Спите, зайньки мои, девочки мои золотые, – говорит бабушка. – Спите, мои хорошие.

– Кус-си, кус-си ее. – Девчонка с тощей выгоревшей на солнце косичкой науськивает старую понурую лошадь, которую сестра осторожно гладит по шее.

Лошадь смотрит на нас темными влажными глазами, вздрагивает шкурой и вытягивает бархатистые розовые губы – как будто хочет целоваться. У нас для нее сухая булка в пакете и сухой ржаной хлеб, посыпанный солью: когда хлеб портится, бабушка аккуратно срезает с него боковинки, тронутые плесенью, а оставшийся мякиш нарекает кусками в два пальца толщиной и раскладывает сушиться на газетке на подоконнике.

– Я и в детстве все сухарики сушила, а соседка наша по

коммунальной квартире, Нина Григорьевна, надо мной все смеялась, – говорит бабушка, посыпая хлеб крупной солью. – А только благодаря моим сухарикам мы и блокаду пережили, и Нина Григорьевна мои сухарики жрала, старая сволочь, и не подохла, когда другие с голоду пухли, а она на моих сухариках... Вот, снесите лошадке, девочки, я сама родилась в год Лошади, всю жизнь и работаю, как лошадь, и все на мне ездят, а я все молчу, все терплю, а еще и в мае – это, значит, всю жизнь мне маяться. Снесите лошадке, золотые мои, только руки ей не суйте, лошадь – животное опасное, нас когда в колхоз отправляли, там был такой конь, Карагез, как у Лермонтова, так вот этот Карагез женщине вместе с косынкой скальп снял, вот так ее за косынку укусил и волосы прихватил, гадина такая.

– Кус-си, кус-си ее, городскую, ну-у, кус-си. – Девчонка пихает лошадь в бок тощим кулачишкой, лошадь взмахивает хвостом, отгоняя ее, как муху, тянется к сухой горбушке, в момент ее схрумкивает и наклоняется за следующей.

– А чиво это у вас хлеба так много? – спрашивает девчонка. – Чиво вы ево для лошадей сушите? Сами сушите или нет?

– Бабуля наша сушит, – говорит сестра, – когда в конце недели хлеб остается, бабуля его для лошадей и сушит.

– А чиво сами не едите? С него тока плесень срежь – и все, там в середине нормальный мякиш, его можно так есть, можно с солью, с чесноком еще можно, – перечисляет дев-

чонка, загибая грязные пальцы, – можно с вареньем, тогда как пирожное будет. А моя бабка говорила, что ваша бабка в молодости голая в одном ватнике по деревне бегала.

– Сама ты в ватнике голая бегала! – Сестра бросает в девчонку сухой коркой, и лошадь, пытаясь схватить корку, дергает головой и случайно задевает девчонку. Та валится на землю и ревет.

– Я сестре расскажу, все сестре расскажу, как вы меня толкнули!

– Ну и рассказывай сколько хочешь, дура!

– Эти маленькие, а уже поганные девки, и родители у них алкоголики, не надо к ним туда ходить, нечего вам там делать, в той стороне, – ворчит бабушка под вечер, – вшей от них еще подцепите, от вшей керосином лечат, я вот возьму у дяди Вани керосин, патлы ваши намажу и замотаю в полотенце – будете знать, как к этим голодранкам бегать. Младшая их уже вечером на крыльце сидит враскоряку и с парнями обжимается, сикалка мелкая, сиськи-то еще во, – бабушка складывает из пальцев фигу, – сисек-то и нет еще, а он уже ее мнет, тьфу ты, смотреть противно!

У лошади на рыжем носу – белое пятнышко, за это пятнышко ее называли Звездочкой, хотя сейчас это старая лохматая кобыла с натруженными ногами, в роду которой как будто были тяжеловозы. Младшая девчонка Комаровых рассказывала, что как-то раз мать пьяная уронила их братика прямо под ноги Звездочке и сама завалилась спать в стойле,

а когда проснулась, увидела, что лошадь стоит неподвижно, низко наклонив голову, и согревает младенца своим дыханием.

– Ну, чего ты лежишь, вставай давай, – говорю я девчонке, – ты же не ушиблась даже, чего орешь-то?

Та мигом затыкается, встает, деловито отряхивает платье и по-хозяйски проводит ладонью по лошадиной гриве.

– Эвона, репьев-то в ней, нахватала! Приходите завтра, будем ее вычесывать. Придете?

– Придем, – говорит сестра, отряхивая руки: хлеб закончился, Звездочка еще для верности сунула морду в пакет, попыталась слизнуть языком оставшиеся там крошки и тяжело вздохнула, отчего пакет сначала надулся, как воздушный шарик, а потом с шуршанием съежился.

Когда мы возвращаемся домой, усталое красное солнце светит нам в спины, и если остановиться и чуть качнуться назад, кажется, будто нагретый за день воздух упругий и удержит, если что, как будто прижимаешься к теплему лошадиному боку.

Бабушка дома вывернет пакет наизнанку, встряхнет его еще для верности над помойным ведром и положит на подоконник, где скоро будут сушиться новые куски булки и хлеба.

– Лошадь – хорошее животное, – говорит бабушка, – кошка, собака – да, все животные хорошие, но для меня ближе всех лошадь, я ведь сама как лошадь, всю жизнь, женская

доля вообще – лошадиная доля, работаешь с утра до вечера, а труд твой незаметный, что за день наделаешь, наутро снова начинай, как будто ничего и не было, а старая станешь, ненужная, так тебя на колбасу. – Она всхлипывает и проводит пальцами по щеке, смахивая уже покотившиеся слезы. – Вот, девочки, возьмите денежку, завтра купите лишнюю буханку хлеба, мы ей свеженького засушим, лошадке, пусть она покусает.

Мы идем назавтра в магазин у станции, и кажется, что так пройдет вся наша жизнь, и солнце будет так же светить утром в лицо, а вечером в спину, и лошадь, дыша на нас запахом сена и пота, будет брать из рук высушенный бабушкой на подоконнике хлеб.

– Ну, это вот как назвать? – В руке у бабушки хворостина, выломанная из веника, но она не бьет нас, а только грозит, поднимая хворостину к пышущему летним жаром небу. – Как это назвать, девки вы бесстыжие?

– Бабуль... ну, бабуль... – ноем мы с сестрой наперебой, не отрывая глаз от хворостины, – это я упала, а она мне помочь хотела, ну правда, бабуль... мы это не специально...

По пятому каналу с утра передавали, что днем будет жара под тридцать градусов, но бабушка говорит, что до середины июля купаться ни в коем случае нельзя – вода в реке еще не прогрелась, ледяная, – это у берега, если рукой потрогать, кажется, что уже теплая, а как заплывешь на глуби-

ну, так тебе сразу и сведет ледяной судорогой ноги, ноги и отнимутся, и пойдешь ты камнем на дно – и никто тебя не спасет, а чтобы судорогу эту остановить, нужно изо всей силы воткнуть в бедро булавку, прямо до самой головки ее вогнать, поэтому бабушка аккуратно прячет нам по булавке в резинки трусов, стараясь, чтобы они не кололись, но булавки все равно колются, и приходится их перекалывать, потом мы их выбрасываем, врем бабушке, что потеряли, и она, ворча, вкалывает новые. Но все-таки это на самый крайний случай, а вообще купаться нам в речке запрещено: ни до середины июля, ни после, потому что даже если мы не утонем от судороги, то все равно замерзнем и простудимся, это только так кажется, что тепло, «тепло, тепло, с носу потекло», любит повторять бабушка, в эту жару достаточно малейшего сквозняка, чтобы простудиться, в такую-то жару люди и хватают самую страшную простуду и воспаление легких, так что если узнаю, что вы в речку эту говнотечку свою полезли, я вам такого дрозда задам, что вы у меня до конца лета помнить будете. Так что, чтобы не схватить простуду посередь этой жары, мы ходим в теплых фланелевых халатах с цветочками: сестра в красном, а я в синем, ей рукава немного коротки, а мне приходится их подворачивать, так что мне в моем халате еще жарче, но когда мы идем на речку, неся с собой тяжелые тазы с выстиранным бельем, то обе обливаемся потом и пытаемся хоть как-то извернуться, чтобы теплая фланелевая ткань немного отстала от тела и пропустила слабый летний

ветерок, но знойный воздух недвижим, и слышно только, как в нем гудят шмели и зудят почуявшие добычу слепни.

Вода в реке низкая, и, чтобы хорошо выполоскать белье, приходится, встав на мостки коленями и придерживаясь за деревянный столбик, наклоняться и тянуться изо всех сил, иначе белье будет елозить по опорам мостков и соберет с них весь ил и грязь. Над водой вьются маленькие прозрачные комарики, у самых мостков мечутся по колышущейся глади водомерки, которые разбегаются, едва завидев дедовы майки и бабушкины белые кальсоны, то и дело всплывает, чтобы глотнуть воздуха, жук-вертячка, к одной из опор мостков прицепились два больших прудовика: мы их любим вытащить на воздух и посмотреть, как они закрывают вход в свой домик крышечкой, чтобы потом положить обратно в воду и ждать, когда крышечка откроется и улитка осторожно высунется наружу. От воды веет приятной прохладой, сквозь толщу ее видно бурое дно: на днях деревенские мужики чистили реку и вытащили на берег большущие снопы зеленой тины.

– Давай искупнемся, – говорит сестра, с трудом волохая в воде простыню, – сил же уже нет...

– В одних трусах, что ли?

– Ой, ну кому там нужно с микроскопом твои сиськи разглядывать! – насмешливо говорит сестра, но ясно, что без купальника она тоже лезть в воду боится: увидят деревенские мальчишки, потом стыда не оберемся.

Мы с трудом вытаскиваем из реки простыню, стараясь, чтобы она не коснулась мостков, и принимаемся за наволочки и ночнушки, потом выполаскиваем всякую мелочь, отправив заодно в плавание еще две пары дедовых носков, и тут-то сестра, широко раскинув руки, как будто готовясь нырнуть на глубину, ухнула с мостков прямо в халате. На мгновение она скрылась под водой, но тотчас вынырнула, смеясь и отплеываясь, и ухватилась за край мостков. Ее намочшая челка распласталась по лбу, похожая на нити речных водорослей.

– Ну-у, а ты чего?

– Да бабушка ведь заругает...

– Она теперь все равно ругаться будет.

До дома мы шли вдвое медленнее обычного: насквозь мокрые халаты были тяжелыми, к тому же на них быстро налипала мелкая глиняная пыль, при каждом шаге поднимавшаяся с дороги. Встречавшиеся нам по пути взрослые смотрели на нас с любопытством, и нам казалось, что они точно знают, что это мы нарочно залезли в воду, и считают, что пыль мы тоже поднимаем нарочно, шаркая ногами, все назло бабушке. Мне даже показалось, что какая-то женщина сказала нам вслед: «Ну и влетит же вам дома от вашей бабки», и стало стыдно, что мы так долго возились в реке, увязая голыми ногами в илистом дне, смеялись и брызгали друг на друга водой и даже когда уже порядком замерзли, не хотели вылезать и возвращаться, хотя понятно было, что бабушка

давно волнуется и скоро побежит искать нас по всей деревне.

— Ну, я вас спрашиваю, засранки такие, — повторила бабушка. — Куда вы залезли, что с вас льет, как с мокрых мышей? В речку эту говнотечку полезли купаться? Ну, отвечайте мне немедленно, в речке купались, да?!

— Бабуль... ну, бабуль... да мы просто в канаву упали! — вдруг выдает сестра. — Я упала, а она мне помочь хотела, вот мы вдвоем и упали!

— Вот мы вдвоем и упали! — подхватываю я за сестрой.

— В какую это такую канаву вы упали? — не сразу понимает бабушка.

— Ну, в эту, в канаву, в эту самую, которая возле нашего дома, — говорит сестра, и я поддакиваю: — Которая возле нашего дома канава, бабуль, правда-правда.

— Ах вы... — Бабушкина рука с хворостиной бессильно опускается. — Вот дряни-то две, а, вруши, что из вас обеих вырастет... дождя две недели как не было, сохнет все, а они в канаву упали! Да эта канава вам по колено, вруши вы растакие! В огороде все сохнет, поле сухое стоит, а они в канаву упали, посмотрите на них, мокрые две, как мыши! Идите, переоденьтесь, дряни такие... сколько раз вам говорено, сведет судорогой ноги, и на тот свет... и не спасет никто... — Бабушка жалостно всхлипывает. — Секунда — и все, и нет человека, а они лезут в эту свою речку, как будто им там медом намазано... Идите с глаз моих долой, не дети, а сволочи, как мне еще месяц с вами маяться, а... подсуропили мне ваши

родители таких сволочей...

– Господи, Пресвятая Дева Богородица и святые угодники, – уложив нас спать, молится бабушка на кухне за стеной, – Заступница наша, помилуй нас, грешных... прости нам, Господи, грехи наши, вольные и невольные... прости, Господи, и меня, великую грешницу... Спаси и сохрани, Господи... вот ведь дуры-то, сил моих больше нет, вот дуры две... прости, Господи, помилуй...

Мы засыпаем, но долго еще слышим доносящееся сквозь сон бабушкино бормотание.

– Ну, и куда мне его теперь? – Бабушка, похоже, так растерялась, что даже рассердиться на нас забыла. – Куда мне его теперь, я вас спрашиваю? Вот гадина, эта в магазине, видит, что перед ней маленькие дети, дрянь такая, ей дети слова поперек сказать не могут, и она им втюхивает! Вот что втюхла-то? Я вам что говорила купить?! – Наконец бабушка все-таки сердится. – Два килограмма сахарного песку на варенье! А это что такое?! – Она встряхивает перед нашими лицами синюшным оредежским цыпленком, которого держит за длинную тощую шею. Покрытые чешуйчатой желтой кожей плохо ощипанные ноги цыпленка бессильно мотылятся из стороны в сторону и едва не задевают сестру по носу.

– Ну, и куда мне его?! – повторяет бабушка. – Это же петушок! Из него даже хорошего супу не сваришь! Его только собакам выбросить!

– Это нам в нагрузку дали, бабуль, – наконец выговариваем мы.

– К чему это вам там дали в нагрузку?!

– Так к сахару! Светлана Кирилна сказала, на килограмм сахару нужно взять одного такого цыпленка, иначе она сахар не продаст. Она нам и так скидку сделала, за два килограмма всего одного цыпленка дала...

– Стерва! Ой, стерва! – голосит бабушка. – Ну ни стыда в ней, ни совести! Ну что ж за стерва-то такая! Где это видано, чтобы к сахару в нагрузку синие цыплята шли, а?! Вот я сейчас пойду и этим цыпленком ткну ей прямо в ее поганую харю! Что я с этим петушком синим делать буду, скажите пожалуйста! Вот же Светка гадина! – Бабушка с размаху швыряет цыпленка на разделочную доску, без сил опускается на продавленный матерчатый стул и закуривает папиросу. – Нет, ну вы только скажите... цыпленка синего она в нагрузку к сахару детям продала... вот же голь на выдумки... А эта Светка еще совсем маленькая была, когда их отец бросил, – вот в том самом доме они жили у развилки к Вырицкой дороге... Он сгорел-то всего лет десять назад, а тогда был хоро-оший дом, двухэтажный, там две семьи жили через стенку, вот этой Светки-продавщицы и другая семья, где как раз молодая баба была, к которой ушел Светкин отец. Мать Светкина при всей деревне на коленях его умоляла, ползла за ним прямо по ступеням крыльца, а он все равно ушел от них на другую половину. А Светкина мать потом

повесилась. — Бабушка задумчиво выдыхает синий папиросный дым, и мы с сестрой смотрим, как он тонкими усиками поднимается к закоптелому потолку. — Вот я если узнаю, что вы в дом тот полезли, вы у меня неделю на своих задницах сидеть не сможете. А цыпленка ей завтра обратно снесите, стерве, а не возьмет, скажите, ваша бабка сама придет, пусть она мне рассказывает, как к сахару в нагрузку всякую дрянь продавать.

— Цыпленка-то, — шепчет перед сном сестра, пока бабушка гремит посудой на кухне, — завтра, может, собакам отдадим, а? А бабушке скажем, что Светлана Кирилна его обратно забрала...

— Ага, — говорю я, засыпая, — только подальше от дома отойти надо... чтобы только бабушка не узнала...

Следующим утром спозаранку мы идем через полдеревни к развилке, где стоит сгоревший дом Светланы Кирилны, а как раз напротив живет за сетчатым забором большая старая овчарка, которая, хоть на калитке и висит предупреждение, что собака злая, ни разу в жизни ни на кого не гавкнула, а если мимо идут знакомые дети, то она прижимается к металлической сетке лбом и ждет, когда почешут ее темную, густо пахнущую псиной шерсть. Мы подходим к забору, и сестра, размахнувшись, перебрасывает через него цыпленка, а спустя несколько минут он без остатка исчезает в овчаркиной пасти.

– Бабуль! Ба-абушка-а! – Мы с сестрой кричим изо всех сил, потому что бабушка глуховата, а если она на кухне, то, может, и совсем нас не услышит. – Бабуля! Ну откро-ой!

Проходит некоторое время, и мы думаем, что сейчас из соседних домов выйдут ругаться, но ничего такого не происходит, и окно нашей комнаты на втором этаже наконец распахивается. В нем показывается бабушка.

– Кто это тут такие? – строго спрашивает она.

– Это мы-ы! – орем мы что есть мочи. – Внучки тво-ои-и!

– А ну, пошли отсюда, хулиганье такое! – Тут же сердится бабушка. – Мои внучки уже давно дома, спят мои внучки, а вы тут среди ночи шляетесь, черти, пошли, пошли отсюда!

– Выпила... – шепотом говорит сестра. – Не откроет теперь.

Мы и задержались-то всего ничего: большое дело – с Комаровыми ходили за деревню смотреть на цыганский табор. Цыгане поставили своих ярких, разукрашенных лентами палаток по всему полю, и женщины в цветастых юбках с оборками ходили туда-сюда от палаток к реке и обратно. Ближе подбираться боязно: поговаривают, что цыгане воруют детей, хотя, конечно, никого они не воруют, нужны мы им очень, бабушка так и говорит, как будто у цыган своих оглоедов мало, вас еще, сволочей, воровать, да на вас же не напасешься. Это, наверное, к местным, оседлым цыганам из Михайловки приехали их кочевые родственники и устроили здесь лагерь, чтобы передохнуть перед гостями. Мы сидим

в кустах и лужаем семечки, которые Комаровы выпросили у кассирши на станции.

– А цыганки, говорят, все ведьмы. – Старшая Комарова сплевывает на землю шелуху. – И молодые ведьмы, и старые особенно. И все гадать умеют.

– Наша бабушка тоже гадать умеет, – говорит сестра, – на картах. Только она не гадают, потому что говорит, что гадать – это грех, а еще гадать – судьбу свою прогадывать. А еще вот...

– Смотрите, к нам идет, к нам! – шипит младшая Комарова, попеременно дергая свою сестру и меня за рукава. – Цыганка же к нам идет!

Мы думали убежать, но стало стыдно: цыгане будут всем табором смеяться, как мы подрапаем от них по некошеному полю. Так и остались сидеть в кустах. Подошла цыганка – красивая, и правда чем-то похожая на ведьму.

– Вы тут, – сказала, – что делаете, девочки? Играете?

– Играем... – нестройным хором ответили мы. Не признаваться же, что мы пришли на них, на цыган посмотреть.

– А в магазин за продуктами для меня сходите? – Ласково спросила цыганка. – Мне не отойти. – Она махнула рукой в сторону палаток, и браслеты на ее запястье тихонько звякнули. – А магазин тут недалеко. Мне хлеба нужно взять, яиц пару десятков и молока. Сходите? А я вам за это погадаю.

– А молока можно от Марфы Терентьевны принести, – сказала сестра, – если вы бидон дадите.

– А не обманете меня? Я вам деньги дам, а вы...

– Не обманем, – говорим, – нас бабушка тоже через день в магазин посылает.

– Ну хорошо. – Цыганка заулыбалась, и глаза у нее стали хитрые. – А если обманете, я вас прокляну, так и знайте, ни одна замуж не выйдет, а к тридцати уже будете старухами. – Она пальцем оттянула верхнюю губу и показала нам два золотых зуба.

Вот мы и замешкались: сначала в магазин ходили, потом Марфу Терентьевну просили нам молока нацедить (цыганка дала здоровенный трехлитровый эмалированный бидон с нарисованными красными маками), потом несли все это цыганке в табор, а потом она долго нам гадала, раскладывая на куске замусоленной клеенки карты и какие-то блестящие бусины, и вышло все хорошее: каждая из нас, включая сопливаю младшую Комарову, должна была выйти замуж за красивого богатого мужчину, и каждая с этим мужчиной должна была прожить в любви и согласии до глубокой старости, и еще у каждой из нас должно было родиться по семеро детей.

– Куда так много-то? – удивилась сестра.

– Это, милая моя, большое счастье, – возразила цыганка и погрозила ей пальцем с длинным красным ногтем. – Не гневи бога.

Так и вышло, что мы вернулись на час, а то и на два позже положенного, когда бабушка уже выпила свои «снотворные» сто грамм и заперла входную дверь изнутри на щеколду. Вот

мы и кричим, как заведенные, под окнами:

– Ба-бабушка-а! Бабуль! Это мы-ы, внушки тво-ои-и!

Ну, откро-ой!

А бабушка не открывает, уже и окно захлопнула, и, наконец, легла спать, чтобы наутро снова закрутиться по дому и огороду, загреметь ведрами и посудой и повторять на каждом шагу, что женский труд незаметный, что за день наделаешь, наутро снова заводи, как будто и не было ничего, да тьфу ты, пропади-то оно все пропадом.

Поэтому мы постояли еще, постояли и ушли ночевать к Комаровым, у которых до поздней ночи болтали и хихикали, сидя под тонкими одеялами на кроватях, а потом, как погасили свет и наконец легли, в душном воздухе комнаты долго надсадно пищали комары: бабушка всегда затягивала окна марлей, чтобы всякая дрянь с улицы не летела в дом и не кусала ее девочек, а у этих голодранцев каждая тряпка на счету, да и дом у Комаровых большой, старый, на все окна марли не напасешься, и потом, щели повсюду, ты окна затянешь, а нечисть эта, комарье и всякие жучки, в щели поналезет, и никакого от нее спасу нет. Так и промаялись до самого утра, а утром, даже не поев сваренной старшей Комаровой жидкой манки, пошли домой к бабушке. Бабушка сидела на ступенях крыльца и плакала.

– Подойдем к ней? – спросила я, когда мы остановились у нашей калитки.

Бабушка нас не видела: плакала она всегда, закрывая лицо

руками и очень громко, со всхлипами и оханьем, повторяя обычно при этом, что плакать-то она не умеет, все в себе, все в себе, всякое горе и страдание молча привыкла переживать, ни единым словом о нем не проговариваясь, потому-то ее никто на этом свете и не жалеет.

– Ругаться будет, – тихо сказала сестра, – давай лучше тут постоим, подождем, когда она сама нас заметит...

И мы, тихонько приоткрыв калитку и войдя в наш двор, присели на стоявшую возле забора скамейку, выкрашенную синей краской, и стали молча ждать, когда бабушка наплачется, отнимет руки от лица и наконец увидит нас, целых и невредимых, и закричит на всю деревню: «Ой, доченьки мои! Внученьки мои! Живы! А я-то, старая сволочь, думала, все, пропали мои дети, что же я вашим родителям теперь скажу!», а потом будет обнимать нас и снова плакать – уже от радости, что нашлись ее девочки, и еще несколько дней, а может, и целую неделю не станет ругать нас за упущенные дедовы вещи, за выпитое сырое молоко, за непрополотые грядки и за дружбу с Комаровыми, а потом, когда забудет, как думала, что мы утонули в реке или нас украли цыгане, все снова пойдет по-старому, пока не иссякнут летние дни и небо не начнут затягивать тяжелые осенние тучи.

Олег Лекманов



Родился в 1967 году. Доктор филологических наук, победитель премии «Большая книга» (2019), автор более 700 опубликованных работ.

Две поездки из Москвы

В девяносто третьем году у меня родился первый сын. Жена сидела с ним дома, денег было совсем мало, и я хватался за любую халтуру, которая подворачивалась.

Подрабатывал уборщиком в школе... Гардеробщиком в открытом бассейне... Ну и, конечно, школьников всю готовил к поступлению в институт.

Помню, одна десятиклассница меня огорошила деловым предложением:

– Вот вам папка платит четыре тысячи за занятие, давайте я буду платить шесть, только чтобы не приходиться...

– Не, – отвечаю, – что-то не очень мне нравится такой поворот дела.

– А какая ваша цена? – мгновенно отреагировала она.

Однако лучше всего запомнились мне те подработки, которые время от времени подкидывала подруга детства Жанна.

Когда-то мы с ней вместе отдыхали в пионерском лагере, потом учились на филфаке, а в девяносто втором году она устроилась сразу на две работы – в некоторую нефтяную компанию, возить русских бизнесменов для переговоров во Францию, и в одну отечественную турфирму в качестве переводчицы для иностранцев, желавших насладиться созерцанием бескрайних просторов нашей с Жанной родины.

Моя подруга прекрасно говорила на четырех языках, а мне предназначалась в этих поездках роль «мужчины на всякий случай» и «прислуги за всё», на которую я каждый раз с удовольствием соглашался. Платили отлично, да и за границу я впервые в жизни, если не считать службы в армии в ГДР, выбрался именно с Жанной и нефтяником Владиком.

Владика мы с Жанной сразу же прозвали Пупсом, хотя его об этом в известность, конечно, не поставили. Со своими реденькими беленькими волосиками, розовым чисто выбритым лицом и голубыми, чуть навывкате глазами он, казалось, каждую секунду был готов обиженно скривить пухлые губы и горько заплакать. Ситуация сложилась так, что в Париж Пупс должен был прилететь на три часа раньше нас с Жанной. Ехать в отель один он категорически отказался и к нашему с Жанной изумлению заявил, что возьмет такси и будет эти три часа ждать нас у выхода из аэропорта в машине – никакие уговоры не помогли. Когда мы нашли его, преодолев паспортный контроль и таможеню, они с испуганным таксистом молча сидели в темном автомобиле.

К моей радости, французы обеспечили Пупсу, а значит, и нам с Жанной роскошную культурную программу. Впрочем, он на прелести Парижа, на всех этих Джиоконд и Олимпий, реагировал вяло и оживился только один раз, когда наш прогулочный катер должен был развернуться на Сене и для этого ему пришлось заплывать в какой-то промышленный район.

– О, глянь, труба, один в один, как у нас в Сургуте!

Ну-ка, Олежка, щелкни нас с Жанкой на память!

При этом на переговорах, как мне рассказывала Жанна, Пупс вел себя умно и цепко, французы только ежились. И в последний вечер в гостинице он меня мастерски напоил буквально за десять минут, верно рассчитав, что таким образом освободится от дуэньи при своей красавице-переводчице. Наутро я проснулся у себя в номере с адской похмельной болью и сверлящей мыслью в голове: «Всё! Не справился я со своей миссией! Зачем только меня Жанна с собой брала?» Она меня, однако, вскоре успокоила.

Оставшись с Жанной практически наедине (я уже был не в счет), Пупс тихо спросил:

– Ну что, пойдём ко мне?

– Нет, не пойдём... – так же тихо, но твердо ответила она.

«Тут у него на лице, – с некоторой обидой рассказала мне Жанна, – появилось выражение “программа выполнена, попытка была предпринята”, и мы потом до утра лениво играли в пьяницу гостиничными картами...»

После возвращения в Россию Пупс раза три звонил мне ночью домой по междугородней линии и делился всякими своими нефтяными и семейными проблемами (жена моя страшно злилась), а ещё через пару лет Жанна с грустью сообщила, что Пупса вместе с водителем конкуренты взорвали в Сургуте прямо в его «мерседесе».

Теперь для симметрии нужно, наверное, вспомнить исто-

рию про самое яркое путешествие с Жанной и иностранцем по России.

Пожалуй, расскажу вот о чем. Однажды мы повезли в город Смоленск очень уже старенького немца, имя которого я напрочь забыл, а Жанне звонить лень. Ну, пусть будет – герр Шульце. Он почему-то очень боялся ехать на поезде, и нам вчетвером с водителем пришлось тащиться по страшным российским колдобинам в обшарпанной черной «Волге», которая, разумеется, сломалась километров за семьдесят до Смоленска в чистом осеннем поле. Оставив водителя тихонько материться под автомобилем, мы втроем решили немножко размять ноги и прогуляться до деревни, видневшейся сразу за краем поля. На подходе мы вдруг услышали: «Тпр-р-ру!» Это нас догнала запряженная понурой лошадкой телега с сеном, которой управлял немолодой, добродушный и, как тут же стало ясно, весьма болтливый дядька. Он нам предложил, пока машина чинится, перекантоваться у него в избе – немножко выпить, закусить, ну и поговорить, понятное дело, «что же, мы не русские люди, что ли?».

Спустя двадцать минут мы с Жанной уже вели с дядей Васей (так звали нашего щедрого хозяина) неторопливую и содержательную беседу под домашнюю колбасу, подогретую вареную картошку и мутноватый самогон.

– А что это, я извиняюсь, товарищ ваш все время молчит? – доброжелательно поинтересовался дядя Вася и ткнул корявым пальцем в заметно напрягшегося герра Шульце.

– А товарищ наш, я извиняюсь, немец, по-русски ни слова не понимает, – объяснил я.

– Что же вы сразу не сказали? – хлопнул себя по ляжкам дядя Вася.

Затем он ловко разлил по стаканам новые порции самогона, не без труда поднялся на ноги и провозгласил торжественный тост:

– За Гитлера!

Мы все поперхнулись, а дядя Вася лихо опрокинул полстакана себе в рот.

Уже в машине, после долгих и долгих уверений герр Шульце, кажется, все-таки поверил, что дядя Вася не был престарелым русским *nazi*, а просто хотел сделать для милого немецкого гостя что-нибудь приятное.

Между прочим, в итоге выяснилось, что герр Шульце стремился в Смоленск вовсе не с туристическими целями. В войну он был минером и, покидая с немецкой армией этот город в 1943 году, закладывал взрывчатку под одну из местных церквей – там располагалась их радиоточка. И вот спустя пятьдесят лет, в знак покаяния, герр Шульце привез в Смоленск и на наших глазах передал оторопевшему священнику той самой церкви две тысячи марок, специально скопленных для этой цели.

Вот почему он, собственно, и был на протяжении всей нашей поездки таким осторожным и молчаливым.

В течение некоторого времени один из наших семейных

альбомов украшала фотография: смеющаяся Жанна, я и грустный герр Шульце возле Успенского собора в Смоленске, а потом это фото вместе с альбомом тихо кануло в Лету.

Василий Алексеенко



Начинающий писатель и сценарист. Родился в Омске в 1993 году. Окончил Литературный институт имени А.М.

Горького.

Лимпопо

Рассказ

1.

В аэропорту Лимпопо есть кондиционер.

Возможно, это единственное место в стране, где он есть. Даже в советском посольстве, где доктор Айболит отмечался по прилете, только зудел вентилятор. От жары это не помогало, конечно. Толстый, весь мокрый от пота чиновник ожесточенно бухал печатью по дорожным документам.

Это было полгода назад.

Айболит нахмурился. Черт его дернул вернуться в эту дыру. Что есть в Лимпопо? Пыль, повсюду пыль – на траве, деревьях, домах, животных и людях. И жара. Белое невыразительное солнце рано-рано восходит над не остывшей со вчерашнего дня землей и начинает печь сызнова.

Вылечить здесь кого-то нереально. Даже если двигатель джипа не перегреется посреди бурых мертвых полей, где кишат и громко стрекочут жаростойкие кузнечики. Даже если беспечный шофер, на все вопросы и упреки отвечающий лишь виноватой улыбкой, не потеряет дорогу и не заедет в чахлые джунгли, перегороженные сухими лианами, которые

даже мачете не берет... Даже тогда по прибытии на место чаще всего выясняется, что зверь мертв, и мертв уже не первую неделю. Местные жители в холщовых рубашках или туниках из тростника с такой же виноватой улыбкой, как и шофер, отведут белого иностранца к одной из своих плетеных хижин. С лицами, посерьезневшими вблизи смертной тайны, они откинут полог у входа и оставят доктора наедине с пациентом.

Но пациента уже и след простыл. В темноте и полной тишине хижины на пропахшей трупом циновке свернулось даже не тело, а окостеневшая кожа усопшего. Айболит видел ланей, успевших выцвести и вылинять в ожидании врача; плоские шкуры слонов, раздувшихся, а потом осевших, как дырявый воздушный шарик, под безразличным взглядом местных знахарей; львов, уменьшившихся до размера собаки, с вылезающей клоками гривой. И червей, тоже успевших издохнуть во множестве, – тысячи белых свернувшихся комочков на теле, внутри и вокруг него. Как показал шофер, они хорошо горели – буквально испарялись при соприкосновении с пламенем, как тополиный пух.

Лечить здесь было некого и незачем. В украшенных колоннами больницах Москвы, в мраморнобетонных клиниках Нью-Йорка, на ученых венских консилиумах только и говорили об ужасной эпидемии звериной лихорадки, будто бы свирепствующей в Лимпопо.

Но Айболит не видел никакой эпидемии – только скуч-

ные, завернутые в одеяла трупы. Болезнь убивала так быстро, а известия о ее вспышках приходили так медленно, что догнать ее и поймать с поличным доктору было не под силу. И все же после каждого сообщения он бросался на зов лихорадки, прыгал в джип со своим верным саквояжем и целыми днями трясся по пыльным африканским ухабам, даже не надеясь на успех.

Сначала доктор даже подумал, что сам заболел и бредит, но пингвин оказался настоящий.

Он жил пустынником – каждое утро делал зарядку, перечитывал избранные главы из романа «Как закалялась сталь» (его единственной книги) и сокрушался о превратностях судьбы.

Неизвестно, что им двигало – врожденное упрямство или принципиальность врача; в любом случае, Айболит без толку объездил бесчисленные селения, спрятанные в душной тени джунглей, – многие из этих деревенок даже не были отмечены на самых подробных картах, а их жители в жизни не видели джипа и по старой колониальной привычке разбежались, заметив белого человека. А между селениями лежали километры разбитых дорог, высохших рек и болот, мертвых лесов. Они летели мимо, и вдруг мотор умирал, и машина останавливалась в неведомой глуши. Тогда казалось, что все кончено, но чудодейственные шаманские ритуалы шофера каждый раз возвращали механизм к жизни, и движение продолжалось.

Несколько раз фортуна, казалось, вознаграждала людей за упорство, и им удавалось добраться до выживших пациентов. Но вскоре выяснилось, что от них никакого толку. Звери успевали не только переболеть лихорадкой, но и забыть, когда они ею болели и какие были симптомы.

Не помогало и обследование. Слишком много диковинных тропических хворей на глазах пожирали тела пациентов, чтобы различить в их злокачественной путанице желанные следы лихорадки.

Трупы и вовсе не пригодились. Когда был найден первый из них – здоровенный пропитой орангутанг с кожей, посиневшей от огненной воды, – доктор решил отправить тело в местный институт медицины для обследования. Но тут появился шофер и объяснил, что для этого придется договариваться с лесозаготовочной компанией. Айболит забрал единственный институтский джип, так что труп придется передать людям, которые сплавляют лес вниз по реке.

Доктор отказался от своей затеи и не прогадал: потом директор института рассказывал, что холодильники морга тогда потекли, а ремонтник прибыл на самолете только через два месяца. Айболиту пришлось довольствоваться полевым вскрытием. Под скальпелем иссохший орангутанг раскрылся, как книга, но внутри ничего, кроме червей, не обнаружилось.

Этому факту очень огорчилась жена орангутанга, собиравшаяся продать тело мужа. Пока Айболит собирал инстру-

менты, она прыгала вокруг машины, хватала доктора за рукав, причитала и показывала детей – шесть подслеповатых орангутанчиков, которые частью, вереща, путались под ногами матери, а частью висели у нее на шерсти. Когда джип тронулся, орангутаниха поскакала следом, потрясая над головой большим полиэтиленовым мешком, куда успела запихать остатки ее никому не нужного супруга.

Айболит сжалился и кинул за борт несколько долларов Лимпопо. Обезьяна запрыгала на месте, на лету хватая мятые, вручную отрисованные купюры.

– Сколько вы ей бросили? – поинтересовался шофер.

– Миллион... где-то, – ответил Айболит.

– Зря вы это сделали, – с уверенностью сказал шофер, а потом покачал головой, – ох уж мне эти женщины!

Погоня за лихорадкой продолжалась шесть месяцев. За это время Айболит успел повидать десяткидохлых зверей и множество живых. Никто ничего не знал о лихорадке, и об эпидемии никто не слышал.

– Передавали же на всю страну по радио, – говорил Айболит.

– Радио? – И собеседники только пожимали плечами.

За полгода в Лимпопо Айболит почернел от загара и смертельно устал. Что пора сворачивать операцию, он понял, когда в хижине из листьев на берегу илистой речушки Либонго встретил пингвина из Харькова.

Сначала доктор даже подумал, что сам заболел и бредит,

но пингвин оказался настоящий. Он жил пустынником – каждое утро делал зарядку, перечитывал избранные главы из романа «Как закалялась сталь» (его единственной книги) и сокрушался о превратностях судьбы.

По трагической ошибке, по распределению его направили не в Антарктиду, а в Африку, в Лимпопо. Прибыв на место, пингвин сразу бросился в украинское посольство. Но там не было никого, кроме двух мелких чиновников, отказывавшихся хоть что-то предпринимать без согласия с отсутствующим начальством, а также уборщика-негра – он оказался выпускником омского танкового училища и еще одной жертвой ошибки при распределении: по неизвестной причине его отправили в уборщики, с чем он, правда, вскоре свыкся.

– Да мне эти танки никогда и не нравились, – говорил он.

Этот самый негр-уборщик, растрогавшись при встрече с собратом по несчастью, рассказал, что начальство утром уехало полным составом на какую-то инспекцию, и подсказал, как их догнать.

В тот же день с помощью нового знакомого пингвин нанял моторку, отдав в качестве платы за проезд пиджак и шляпу (денег у него не было). После двух часов скольжения по гнилым водам реки Гменге он причалил у безлюдной станции, где пересел в пропахший бензином пикап. Водитель, толстощекий негр в синей рубашке, за время поездки не сказал ни слова – только подозрительно косился, не ободрал ли пассажир кожаменитель с сиденья.

К вечеру они нагнали посла – у дороги расположился целый поезд из четырех джипов и одного УАЗа. Рядом, на выжженной солнцем поляне, сидело человек двадцать – мужчины и женщины. Очевидно, они недавно поели, а теперь с удовольствием тянули хором «Варшавянку». Пингвин бросил водителю подсумок с инструментами (тот уставился на них с очумелым видом) и прыгнул из машины навстречу родным звукам. Его радушно приняли – пообещали разобраться во всем, накормили, обласкали, утешили, напоили и взяли с собой.

– А потом, ночью, я, видимо, на ходу вывалился из машины, – закончил свой рассказ пингвин, – что поделать, пьяный был. Просыпаюсь на обочине, кругом – ни души, одни заросли. Я пару дней поблукал по лесу и вышел к этой вот хижине. Так и жил тут до сих пор. Заберите меня отсюда, пожалуйста.

– Заберем, – решил Айболит.

– Спасибо! – обрадовался пингвин и тут же робко добавил: – Только водки мне не давайте, а то я делаюсь буйный.

2.

«Так зачем же я прилетел в Лимпопо?» – спросил себя Айболит, глядя сквозь пыльное окно на пустой аэродром.

Но ответ не был написан на сиреневых стенах ангаров, а причины, таившиеся в мозгу, будто выжгло африканским

солнцем.

«Лечить животных по просьбе ООН», – вспомнил доктор, но тут же покачал головой. Нет-нет-нет, было что-то еще – настоящая причина. Но ее скрутило и раздавило тяжелой черной нервотрепкой последней половины года. «Шесть месяцев труда – и никакого толка. Но надо все-таки вспомнить».

Айболит знал о таких феноменах: совершенно здоровый человек вдруг теряет память. Любопытно – даже жаль, что в Лимпопо нет специалистов, с которым можно потолковать на эту тему. «Ерунда! – оборвал себя доктор. – Просто забыл, заработался. Вспомню еще».

Самолет опаздывал. Белый шар солнца медленно сползал за горизонт. Тускло-голубое небо темнело, а у крыш ангаров приобрело персиковый цвет. По взлетной полосе совершенно черный негритенок куда-то катил автомобильную покрышку.

Скрипнул стул.

Айболит обернулся. Кроме него, в зале ожидания были еще трое. На одном из стульев, прислоненных спинками к стене, сидел вдрызг пьяный некто в щегольском белом костюме. Лицо его было потным, черная немытая грива волос спуталась клоками. Над ним стояли и что-то втолковывали два крокодила – один в лимонного цвета брюках и розовой рубашке, а другой в мятой серой полицейской форме. Некто тупо уставился в линолеум пола и только иногда качал голо-

вой. На запястье крокодила в штатском тяжело висели золотые часы, под рубашкой виднелась золотая цепочка.

У окна на столике лежало несколько журналов с выцветшими обложками. Через корешки журналов были пропущены веревочки, концы которых были приклеены к столу монолитным, как бетон, куском жвачки.

Айболит взял в руки первое попавшееся издание – обложка его была почти белой. Уже почти стемнело, а лампа в зале ожидания не горела, так что для чтения доктору пришлось поднести открытый журнал к самому окну. Оказалось, он французский и про авиацию. В статье на развороте сообщалось об устройстве закрылок какого-то экспериментального гидроплана.

«Может, эти закрылки уже ушли в массовое производство, пока этот журнал тут лежал, – подумалось Айболиту, – или наоборот, их послали к черту».

В эту минуту дверь на летное поле отворилась, и показался худощавый служитель при аэропорте. Он оглядел зал ожидания – его фигура четко вырисовывалась на фоне гаснущего неба. Потом служитель направился к троице и негромко заговорил. Крокодилы рассердились, стали задавать вопросы. Служитель невозмутимо отвечал. В это время пьяный в белом костюме уронил голову на грудь и заснул.

Наконец служитель оставил крокодилов и подошел к Айболиту.

– Что-то с самолетом? – спросил доктор.

– Да, сэр. Над морем шторм, вылет отложили. Самолет будет завтра в три часа дня.

Айболит кивнул. Крокодилы тем временем тормозили пьяного. Тот отзывался слабо.

– На сегодня я закрываю аэропорт, – сказал служитель, – вам придется ночевать в другом месте.

Я попросил вон тех господ (служитель указал на крокодилов, тащивших бесчувственное тело к выходу) подвезти вас до гостиницы или посольства. Они согласились.

– Хорошо. Спасибо вам. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, сэр.

3.

Когда Айболит вышел на стоянку, было уже совсем темно. Если бы фары микроавтобуса не горели, он бы его не заметил.

Айболит подошел к машине.

– Багаж? – спросили из окна.

– Только саквояж.

Цопнув, открылась боковая дверь. Доктор залез внутрь.

Дохнуло перегаром – незнакомец в белом спал на соседнем сиденье.

– Дверь закрывайте, – сказали с переднего места.

Айболит закрыл.

– Тото, – прозвучал другой голос.

Доктор догадался, что от него требуется, и поймал в темноте руку Тото, пожал. Металлически звякнуло: значит, Тото – это крокодил в гражданском.

– Моего брата зовут Коко. Он вам руки не пожмет, потому что за рулем. А рядом с вами Людвиг, но это не так важно...

Айболита осенила догадка.

– Тото, Коко... Тотоша и Кокоша? Из Лимпопо? Сыновья Крокодила Крокодилыча?

– Разве мы знакомы?

– Я Айболит, – представился доктор, – я вас лечил в детстве.

– Айболит?! Черт побери, какая неожиданность, – разве селился Тото, – а я вас и не узнал! Сколько же лет прошло! Если б не вы, то нас бы сейчас не было... Ты слышишь, Кокоша? К нам пожаловал сам Айболит! Помнишь его? Помнишь, как мы отравились калошами?

– Помню, – раздраженно отозвался Коко, – очень приятно. Куда ехать-то?

– Как куда? К нам домой! – воскликнул Тото. – Пусть хоть чуток погостит. Айболит... Ничего себе сюрприз... Такая встреча!

Коко завел мотор, и машина тронулась с места.

– Мы тут недалеко живем, за городом, – заговорил Тото, – хотя кому я объясняю! Вы-то, наверное, помните!

– Да, помню, – ответил растроганный Айболит, – такая усадьба, в колониальном стиле. Двухэтажная.

...В голове закружились воспоминания – прощальный вечер; вальс, струящийся из освещенных окон в темный сад; дворецкие в белых перчатках...

– Все верно, двухэтажная! И почти не изменилась за эти... сколько прошло с тех пор? Тридцать лет?

– Около того, – не стал уточнять Айболит.

– М-да. Какими судьбами вас занесло в нашу глушь, доктор?

– Да так, работа.

...Глава семейства – могучий крокодил в смокинге. Знарок римского права и турецкой поэзии. И его жена. Его жена...

– Точно, работа! Как я сам не подумал. – Невидимый Тото звонко хлопнул себя по лбу. – Кто ж к нам отдыхать поедет! М-да. Зверюшек лечили?

...Ее кожа была удивительно мягкой, а цвета почти изумрудного. Она не любила золото. «Серебро благородней. Вы не находите, доктор?..»

– А вы не слышали? В Лимпопо была эпидемия лихорадки.

– Нет, в городе никто ничего не знает.

– Об этом говорили по радио.

– У нас радио никто не слушает. Больше патефоны. Что-то серьезное?

...Первая ночь. В великой спешке его доставили к усадьбе. Слуги тянут из автомобиля, свет фонарей больше слепит, чем помогает. Рядом тяжело топает хозяин, все новые слуги с подсвечниками летят навстречу, вверх по лестнице. Он думает о работе, только о ней. В детской – монотонный вой...

– Да нет. Эпидемия ушла. А вы как поживаете?

– Слава богу, здоровы.

– А работа?

– Ну, Коко в полиции, бумажки целыми днями перебирает. А у меня свой бизнес. Продаю бытовую технику. Кстати, не хотите телевизор купить? Цветной, со скидкой?

...Он тогда вспоминал виды отравлений, случаи из практики, как вдруг все смела Она. В дрожащем мерцании свечей она посмотрела на него грустногрустно. Она сказала...

– Нет, спасибо. И хорошо покупают, технику-то?

– Поверите ли – просто-таки сметают! Особенно вентиляторы. Оно немудрено – климат располагает... А я потом еще пару ломбардов открыл, так что живем, не жалуемся. Да что мы все о себе! Как в России?

– Там сейчас зима. Холодно.

– Брр. Помню, как мы приезжали в Россию. Ходили в шубах, но все равно пробирало до костей. Эти шубы у нас, наверное, еще где-то висят в шкафах... А этот город, Петро-

град, я слышал, его переименовали?

...Воздух стал плотным, как вода, пламя на свечке замерло, замолкли детские крики, и был только он, первый и единственный голос, полный тоски и надежды. Она сказала...

– Да, теперь это Ленинград. Так усадьба устояла в годы гражданской войны?

– Конечно. Да это разве война была – пальнули пару раз...

– А родители ваши как?

– Умерли.

...Она сказала: «Мы без вас пропадем, доктор».

4.

Когда Айболит проснулся, дом остался чужим. Он еще вечером вдруг таким оказался. Когда машина только подъезжала к усадьбе, выяснилось, что она куда приземистей, чем Айболит запомнил. Не было ни дворецких, ни пышных клумб, а внутри – темнота.

Доктора повели в спальню для гостей, где в такой же ночной черноте тридцать восемь лет назад он коротал минуты между новыми приступами рвоты у двух вопящих крокодильчиков. А теперь они, во взрослой одежде и с отвислыми пузами, убрали из прохода картонные коробки с вентиляторами и смахивали пыль со старых простыней...

Потом был сон, а утром все продолжилось. Усадьба хоть и залилась мягким утренним светом, но не утратила отрешенности. Эта замкнутость в воспоминаниях, в своем прошлом, даже враждебность к непрошеному гостю сочилась отовсюду — с впервые увиденных когда-то давно голубых обоев; со шкафов затейливой резьбы, заказанных в Австрии радушным хозяином дома, обладателем мягкого баса; с репродукции Айвазовского, подаренной семейству в Советском Союзе. Все было знакомым, но чужим, ненужным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.